

НАДЕЖДА СЕРЕДИНА

Продолжение. Начало в № 5–6.

Двадцать лет спустя

Роман в трёх частях

15. В салоне обсуждение

Когда Мария вернулась, салон Киры всё ещё гудел, как потревоженный улей, все говорили наперебой, стараясь перекричать телевизор.

— Они хотят подавить центр головного мозга, который отвечает за стыд, наркозом, как убивают боль, — говорил полковник, состязаясь с теледиктором. — У человека, у которого нет стыда, нет и Родины.

— Полковник, скажите, — говорил Славецкий предельно спокойно, как человек, очень тонко воспринимающий всё, — что труднее для лётчика: взлетать или садиться?

Полковник посмотрел на него, словно его перебили ненужным вопросом.

— Подходить к самолёту! — отмахнулся он, не понимая, то ли всерьёз задан вопрос, то ли в шутку. Но увидел, с каким интересом слушает его Оля, и успокоился. — Ощущение тяжёлое, когда к самолёту подходишь, перед этим, в этот момент — все страхи. А двигатель запустил — и сердце уже в полёте. Самое страшное — когда в постель ложишься. Страшно, что могло бы быть. И засыпаешь под страх. В небе — работа! Самолёт — площадка, кабинет.

Всё время, пока полковник говорил, на него внимательно смотрел человек, которого Оле не представили, словно сегодня поменялись все правила этикета. Кира больше была занята не гостями, а сама собой, своими мыслями. Оля удивилась атмосфере, которая царила в комнате. Казалось, только этот незнакомый человек изо всех сил продолжает оставаться самим собой. С чего Оле такое пришло в голову, ведь она его совсем не знала? На лице его отражалось столько переживаний, что это вызвало не жалость, а уважение. Видно было, как он напряжённо сражается с чем-то

в себе. То вздрагивало веко, то вокруг губ резко обозначались глубокие складки, и всё лицо сжималось от непосильной внутренней борьбы.

— Мы — лётчики — особые люди, — продолжал полковник, переходя на излюбленную самолётную тему. — Мы мужественные люди, и мы скажем своё слово. Пришло наше время. Я не считаю себя жестоким, но сейчас могу взять винтовку. И, если будет приказ, я знаю, в кого стрелять! Я видел, как мои друзья-лётчики гибли, и не плакал, когда они горели живыми.

— Это вы называете мужеством? — Славецкий сидел в мягком кресле и говорил медленно, вяло, словно нехотя. Когда он бывал в таком состоянии, бывшая жена вообще не контактировала с ним. Она знала: ему надо отключаться. Она отмалчивалась на его резкости. Он не любил начальствующих, которые чуть что, брали под козырёк.

— Да, я тоже считаю, что честный человек сейчас не должен отсиживаться, — поддержал полковника Илья. — И я готов драться. Но только не вижу, с кем...

— А что делаете вы? — напирал на Славецкого полковник.

— Я включаю свет, — тот щёлкнул кнопкой торшера.

— Вот оттого, что вы ничего не делаете, всё и рушится. Вы, вы будете в этом виноваты, интеллигенция, потерявшая потенцию. Как говорила одна моя знакомая, швырковая интеллигенция! — Полковник встал.

— А что, я должен возводить баррикады или призывать к этому?

— Ваше поколение интеллигентов всё время только этим и занималось, а как до дела дошло — вы в мягкий уголок, под торшер, — полковник потряс светильником.

— Вы потеряли грань между жестокостью и силой, а виноватых ищите вокруг? — Славецкий насмешливо посмотрел на полковника.

— Если бы мы потеряли эту грань, то за два часа всю Москву кровью бы залили. Я военный человек. Коленом придавлю — и пискнуть не успеешь. Мне говорят, я жестокий человек. Да, я жестокий, когда вижу, что передо мной враг. Меня так учили, уж простите, — посмотрел полковник на старого, измученного ранением друга.

— Как же заповедь? — Славецкий свободно опустил плечи, наслаждаясь одному ему ведомым чувством уверенности. — Или это серебряные литавры гордости?

— Море крови затопило бы всё, если бы не церковь.

— Не на страхе, а на любви жизнь держится, — тихо произнёс Илья.

— Меньше? По каким таким улицам прогуливались вы сегодня, что вам так кажется, уважаемый профессиональный писатель? Я слышал, вы пописываете? Не видели толпы разъярённых молодчиков, которых сдержали? Дай им сегодня свободу, всё залили бы кровью! Вас коробят мои слова, уважаемый литератор во втором поколении?

— Я думаю, если бы человек привык к свободе, насилия было бы меньше, — тихо, но с особой ясностью в голосе произнёс Илья. — Не статьи Уголовного кодекса сдерживают человека, а что-то иное. Тех, кого не может удержать это его внутреннее, не сдержат и законы. А страх только провоцирует!

— Вот вы как думаете? Глубокомысленно. Ты хоть в армии был?

— Папа, — остановила полковника Кира, — ведь ты тоже писал стихи! Я знаю, мама показывала. И получалось, поверь мне, не хуже многих. Я знаю сегодняшних поэтов.

— Да, но я никогда не позволял себе заниматься только этим. Жизнь заставляла делать более важные дела, молодой человек. И спасибо людо-еду редактору, который предостерег меня от стихотворной графомании. А то бы я так и бегал и кричал во всех углах библиотек, что пишу как Пушкин. Вот и ты, малыш, сейчас на этой стадии.

— Мне двадцать четыре года, полковник.

— Тем более смешно так рассуждать. Возлюби ближнего своего как самого себя? Если ударили по правой щеке, подставь левую? Вот и бьют, и ещё под зад.

— Борис Константинович, — вмешался Вадим Николаевич, сидящий с девочками, — а вам не было страшно сегодня?

Полковник понимал, что за разговором следят. Он встал, коренастый, по-военному стройный, действительно двойник Гагарина. Напряжённо прошёлся по комнате и решительно остановился, словно перед входом в самолёт.

— Я присягал Родине и советскому народу и буду верен клятве до конца. Не зря мы не погибли в Афганистане, не зря почти всю жизнь отдали военному делу!

— Не сотвори себе кумира. — Иван, не глядя ни на кого, прошёл к окну. — Человек устал воевать.

Вадим вышел и отправился домой.

Вадим Николаевич долго мыл пол в тот вечер, тщательно, руками собирая то, что не получалось подхватить тряпкой. Им овладело суетливое желание навести порядок. Он вычищал пыль и сор любовно, как матрос драит палубу.

Вадим Николаевич считал, что умеет говорить себе правду. Он опять пребывал в промежуточном состоянии, хотя сознание оставалось ясным. И всё возвращалась среди наплывающих мыслей одна: будто бы кончилось всё радостное, что могло быть. Но радости и так случалось мало, а какая посещала, та была эфемерная — от надежд, от обилия красок в калейдоскопе мечты, от конкретности преград и реальности их преодоления. Преграды эти (жизненная неустроенность) были внешнего свойства. Они требовали терпения, ловкости. Теперь вот осталось только внутреннее, зависящее от него самого.

Эту потребность в сочувствии Вадим угадывал в себе, осознавал, но трактовал, понимал как доброжелательность или недоброжелательность людей к человеку вообще. Он не мог ни заглушить эту боль, ни понять, что это лишь детская рана, ставшая взрослой болью.

«Теперь же всё только внутри меня, — казнил Вадим себя, словно из пытки можно извлечь деятельную энергию. — Только от меня зависящее». Многие из того, что ранее виделось приманчивым, обладающим авторитетом, оказалось пройдено и преодолено.

Теперь он остался наедине со своими чувствами и мыслями, которые даже и не перескажешь: некому.

И ещё пустыннее стало одиночество.

Надвигались три долгих тёмных месяца, когда день сожмётся, а темнота, выплёскиваясь за берега утра и вечера, превратится в долгую холодную скуку. Надо привыкать к холоду. А ещё не топят. «И ухожу я в зиму с открывшейся вдруг неожиданно язвой и больными внутренностями. Преодоление всего этого требует диеты, тепла и положительных эмоций. А я один, и никому нет до меня дела».

Странно. Голова уже седая, нутро больное, а на дне души ещё копошатся какие-то надежды, что-то светлое, и милое, и целомудренное.

Откуда у него привычка постоянно оценивать свои чувства и мысли, да ещё так придирчиво и жестоко? Когда поселился в нём этот двойник

с хваткой чекиста? Почему это стало главной работой, которая никогда не приостанавливается? Эта вечная изнуряющая слежка за собой, в одиночестве никем и ничем не стесняемая, не перебиваемая, постоянная жёсткая узда — может быть, самое трудное испытание, которое только дано человеку. Измученный самим собой, Вадим расслаивался, растил и питал в себе беспощадного, всё знающего и не щадящего ничего двойника. Теперь он отчётливо видел, что есть жизнь: журналистика — это командировки, беседы — это отдых от главной работы, которая всегда происходит внутри. В нём шло единоборство: внутренний ли человек будет питать его душу или живой, непредсказуемый, тайно ожидающий естественно возникшее юное женское существо.

И наступил момент, когда Вадим стал готов, чтобы в его судьбу ворвался живой, радостный женский смех. А внутренний человек напрягся, вслушался и выдвинул заслон: «Сейчас эмоции могут быть губительны для меня». Чего хотел этот внутренний тайный человек? Власти? Денег? Славы? Что он почитал за счастье?

«Кто я? Что я? Зачем? Что мне нужно?» Ещё месяц назад Вадим знал, что мыслитель. В нём шёл постоянный анализ и синтез всего прошлого и настоящего, пережитого, наблюдаемого, как он сам о себе понимал. Он заставлял рождаться литературные образы, коллизии, сюжеты, требовал от себя их художественного оформления. Перед ним стояла пишущая машинка, лежали горами книги, ворохом газеты. Но не газетные статейки были его тайной болью и мечтой. «Думать, мыслить, искать мыслям художественное воплощение — таково свойство моего мозга, моей психики. Думать, мыслить — это моя работа», — внушал он себе, усаживаясь за немецкую пишущую машинку. И стучал по клавиатуре каждый день.

Вадим давно привык рассматривать жизнь как конкретный фактический материал для наблюдений или переживаний прошлого или настоящего, а живые чувства женщин отвергал. Берёт себя для общества как необходимость, чтобы люди осознали себя, свои пороки и достоинства, своё прошлое и настоящее — и предвидели будущее.

Из всех известных ему людей Вадим мог только об одном человеке определённо сказать, что он создан для того же и занимается тем же. «Слава богу, что есть люди, которые что-то делают в искусстве и на

которых в первом приближении можно равняться», — радовался он и потому строил с ним дружеские отношения.

Раздался стук женских каблучков за окном. Они приблизились, торопливые и отчётливые, и стали отдаляться. Вадим Николаевич вспомнил, как заходил тот человек в прошлые годы, а он сам, деликатно извиняясь, шептал: «У меня Кира». Он — Славецкий — пятился назад от счастливого друга, объясняя, что заглянул на секунду и очень спешит. Бывшая жена Славецкого в его «кубрик» заглядывала редко, пыталась установить свои порядки — но он это пресёк. Жена Славецкого была неглупой, как-то она высказалась, что ему трудно понять себя, поэтому он думает, что всегда прав. И однажды в сердцах сказала: «Ну ладно, не можешь заработать деньги на ребёнка, так хоть помолчи». Она была сильно обижена.

«Ты не включала. Зачем выключила чайник!» — орал он на неё. Это было за гранью терпения. И они разошлись. Жить и писать — это возможно? Правда, он пока написал только одну статью, но это оттого, что всё вокруг мешает и не позволяет сосредоточиться.

Счастье друга Славецкий расценивал тоже как временное и не хотел сокращать его продолжительность своим присутствием. В глазах друга он ясно видел состояние «интеллектуальный ноль». Он разделил жизнь на природную и разумную и считал, что каждый имеет право на маленькое животное счастье, как на каникулы в школе. Он махнул рукой, повернулся спиной к виновато упрасивающему остаться Вадиму Николаевичу. Медленно спускаясь по ступенькам второго этажа, думал, что надо прийти в другой раз, когда у друга пройдёт отвращение к мышлению и состояние, когда хочется не думать, а жить. Но даже в интеллектуальном отпуске Вадим Николаевич Греков не забывал о компасе жизни.

Главное — литературная работа. В молодости Вадим писал стихи, память у него была натренированная, репетиторская, и он, много заучивая наизусть, и сочинял похожее на то, что помнил. Потом, поняв это из общения с поэтами и поэзией, перешёл на прозу. Предложил два рассказа в журнал, но, получив отказ, взялся за критику. Здесь Вадим почувствовал, что его задатки эрудита помогут сыграть роль, к которой он себя готовил. Он понял, что самое удобное место в литературе — быть критиком. Здесь можно проявить учёность перед лицом трепещущего

автора и перед очами всегда уверенной в себе публики. О Кире он не то чтобы всерьёз думать не хотел, а как-то надобности не было. Замуж она вроде не просилась. А деловые отношения с женщиной, пусть даже семейные, лишают мужчину свободы в любви — вывел Вадим из опыта первого супружества. И поставил женскую фотографию на письменный станок, сделанный по собственному проекту, чтобы можно было работать стоя, как Гоголь. Кира в пушистой лисьей шапке и в такой же рыжеватой шубке теперь украшала его одинокий быт.

Чем больше Вадима тянуло к Кире, тем жёстче он давал указания своему «я». Вот он уже в панической уверенности, что пришло его время. Он совершенно чётко мог теперь себе ответить на вопрос «Кто я?».

Тень друга стала посещать реже.

Вадим Николаевич начал отдаляться от друга, увлекаться женским, бытовым. Он стал ощущать, осознавать необходимость собственного движения даже в бытовых мелочах. И всё, что теперь он видел у себя, особенно подмечал. Много напоминало детство, раннее, послевоенное. Эти юные годы у каждого вызывают умиление в душе. Но теперь он уже чувствовал ностальгию, когда ложился спать на рваные простыни. Он смотрел на фотографию на станке, а фотография смотрела на него. Рыжая лиса Кира.

— Выходи за меня замуж, — нечаянно сделал он предложение. И испугался. В нём шевельнулась жалость к себе. Он стал бы тосковать по своему страдальческому одиночеству. Сейчас Вадим свыкся и знал, как ему жить, чтобы соответствовать высоким внутренним требованиям. А что потом?

Она, смеясь, скомкала полосы рваных простыней и расстелила свою, шелковистую.

— Нет, — она была рядом. — Зачем? — и запрокидывала руки, ей, мол, хорошо.

А Вадим наблюдал и не мог понять, что тянет его к ней. Ему всё больше казалось, что он стоит перед настоящей любовью. В тайном восторге скрывался страх как перед стихийным бедствием. Это внутреннее предощущение любви уже зарождалось. Однако томление, рождённое неопределённостью, мешало, рассеивало глубокую сосредоточенность. В порыве смятения он спрашивал себя: «Что я?», словно проводил в душе партбюро, где выступал и с докладом, и с отчётом, и с критикой. Когда-то

Вадим тщательно изучал биографию Ленина, много бессонных ночей посвятил его работам, верил в его слово. И вдруг незаметно, неизвестно откуда повеяло предчувствием, словно приближением беды.

Любовь? Он пророчествовал: «Я — мыслитель в области общечеловеческого. Я не могу не мыслить». И в этой неравной борьбе с самим собой убрал фотографию Киры, засунул её в секретер между книг. «Я, кажется, понял причину гибели, — поставил вместо женской фотографии портрет Гоголя. Отодвинул книги с нижней полочки, извлёк бутылочку с чёрным донышком. — Может, ты пошёл длинным, обходным, окольным путём там, где художник угадывает сразу и верно. — Плеснул в большой гранёный стакан. — Ты перестал доверять в себе художнику и решил подойти к творчеству по-другому. — Обжёг губы и горло первачком крепким, как морозец. — Ты подошёл к материалу для творчества сначала умозрительно, — глотнул машинально, — от фактов, знаний и концепций!» — резко отставил стакан в сторону, подошёл к полке. Прямоугольное зеркало, довольно старое, ему лет двадцать, — зеркало молодости. «Ты должен наконец перестать откладывать начало! Что? Но я обязан сначала покончить со своими литературными обязанностями, которые гарантируют минимум обеспечения. Ты должен, обязан перед всей своей прошлой жизнью непременно исполнить данное тебе! Сегодня я очень душевно болен, — смотрел он на свой зеркальный портрет работы великого мастера — природы, — делать ничего не в состоянии, — от этой жалобы тоска и слёзы. — Гнетущее состояние. Будто мозг устал и чувства притупились. — Это всё-таки чудо, что ты ещё жив... Хотя остро не хватает элементарного людского участия. Был единственный Он. Нет его, — Вадим Николаевич посмотрел на дверь, даже попробовал толкнуть. — Заперта! Даже нет женщины... Были когда-то. Сам от них ушёл... А ты? Обрубил связи с живой жизнью и сам же возроптал, что не знаешь и не понимаешь Россию. Что молчишь? Что? Молчишь?!»

Вадим Николаевич опять взял бутылочку, перевернул — чёрное донышко, как амальгама.

Всё! Он встал, качнулся к письменной стойке-кафедре.

«Я верю, что важнее — интуиция, чутьё, наитие. Оно вернее. Всё, что на уровне плоского “здорового смысла” — чушь, плоскостопие, плоскочувствование, дребедень», — взял «Письма Гоголя» и, найдя

между страничек свою Киру, вновь поставил её на письменный станок, за которым чувствовал себя Гоголем.

Вадим Николаевич попытался заснуть, на него шли холодные, как ветер из окна, мысли. Любой хочет, чтобы только его любили, и не хочет сам никого любить. В этом главный порок нашего времени. «Не понимают люди, — сжимался он под подрубленным по краям активированным общежитийским одеялом, — что сами себя этим обедняют, чувства свои оскопляют. Люди! — встал, закрыл створку окна. — Как я душевно болен. Пустяковую рецензию не мог сегодня написать. Нет! Нужна служба. Любая работа среди людей — это спасение от безумия, которое может наступить от постоянного умственного напряжения, не прерываемого ничем и никем».

Он подошёл к стене, привычно щёлкнул выключатель — зажётся верхний свет. Глянул на фотографии, пока было темно, он о них не помнил.

В сердце самого последнего преступника живёт образ идеальной женщины, как луч, который может осветить жизнь. Крах наступает, когда этот образ заслоняется развешанными на верёвках трусами.

Вадим Николаевич, рассмеявшись, открыл дверь, пошёл под душ. После холодной воды пустил горячую. Затем ополоснул волосы настоем ромашки, чтобы придать им мягкость и блеск. Кожу лица и рук смазал жидким кремом «Бархатный».

Рядом с адресом Киры Вадим Николаевич хотел записать свою мысль, но что-то удержало его. Это непонятное и не проявленное никем и стало его беспокоить. Нечаянно возникла мысль о ней, и эта женщина начала притягивать его и удерживать внимание. Она даже стала мешать его гордому угрюмому одиночеству. Это была не игра с воображаемой любовью, а чувство, не обуздываемое мыслью и воображением. Что была любовь? И знал ли он её раньше? Говорят, первая женщина у мужчины похожа на мать. «Конечно, — защищался от пробуждающегося чувства Греков, — это в плане нравственном, духовном. Но если сын лишён материнской любви?» Он помнит мать, которая бросила его ребёнком... Отец выкорчевал из него остатки привязанности, гасил даже смутную надежду на любовь к матери. Вспоминается, как мать везёт его на поезде, как ведёт по незнакомым улицам. Вот они входят в школу... И мать уходит. В кабинет директора заходит незнакомый

мужчина. Директор говорит, что это его отец... Он помнит... Потом стал верить, что мать, его родная мать, хочет выкрасть его, чтобы убить. Как убить, он себе не представлял, но очень боялся. Главное, что он верил отцу. Было страшно и больно. И боль осталась.

Теперь каждая женщина, которая прикасалась к нему, невольно пробуждала память этой боли. И любовь была замешена на страданиях души, как на капельках росы. Мечталось встретиться с женщиной-сиделкой, чтобы она, пусть хотя бы из милосердия, ухаживала, успокоила. Ему надо было почувствовать в любви утешение, материнскую жалость. Но в снах она являлась насмешливой. «Мне патологически не хватает красоты, — с тоской по наслаждениям признавался себе Вадим. — Хочется цветов, музыки, счастливых лиц. Я дохожу до жуткого отупения от этих рыл в автобусах и трамваях. Иногда мне кажется, что я заболел, и потому всё мне видится в таком неприглядном виде». Но сквозь мрачную пелену, завесу он вдруг увидел её облик, услышал её смех.

16. Слова, слова, слова

Кира гордилась тем, что у неё всегда много по-своему чудаковатых, но оригинальных, интересных гостей. Она не сравнивала свой салон с салоном Анны Павловны Шерер лишь потому, что время было другое. Особенный вес их собранию придавал Иван Петрович Корнев. Кира его часто приглашала. Она хоть и провела бóльшую часть жизни в Петербурге, теперь жила в древнем граде Москве. А это город, где в круг элитной интеллигенции попасть непросто. Она была на кругу, как говорил Славецкий и делал едва уловимые движения угольными бровями.

— Человек рядом со мной испытывает эйфорию, — смеялась после шампанского Кира. Быть может, она была не так далека от истины, по крайней мере, с точки зрения Вадима Николаевича. — Перенаправляет поток внутренней энергии, как оперные певцы. Наугад, инстинктивно.

Торжественно держа перед собой добытую на улице листовку, Зубр ждал, когда её можно будет огласить.

— К гражданам России! — наконец торжественно произнёс Зубр и почувствовал, что выбрал момент правильно. — В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранён от власти законно избранный президент страны.

Пригибаясь, вошёл Славецкий. Куртка потёртая, как у бомжа, а под ней костюмчик чуть ли не из Парижа.

— Вот и триумvirат. — Кира стояла как бы на одной ноге, расслабленно, на лице играла насмешливая непринуждённость.

— Стало быть, я пожаловал в Рим? — Славецкий слегка склонился, чтобы поцеловать её в щёчку. — А кто же эти ещё два государственных деятеля?

— Один наш общий знакомый — наш маленький римлянин. Другой — грек.

— А кто же я? — слегка усмехнулся Иван Петрович.

— Проходите.

— Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом, — Зубр сделал паузу для нового гостя, поднялся и словно застыл. И вдруг заметил, что Иван Петрович повёл плечом, словно ему было неудобно сидеть, и, побоявшись, что дочитать листовку не удастся, скороговоркой застрочил дальше. — При всех трудностях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает размах необратимый. Народы России становятся хозяевами.

— Страх. Террор. Слезы преступности власти, — тихо, нараспев, словно стихи, прочитал Славецкий.

Оля вскочила, словно кто-то её позвал. Вышла.

— Идёт реставрация капитализма! — пророкотал полковник мощным голосом. — Разбазаривается, а народ нищает. Теперь транснациональные монополии получают за бесценок сырьё, расчленят и ограбят нас. Геноцид. По конвенции ООН они подлежат суду.

— Страх учит людей говорить одно, думать другое, делать третье, — усмехнулся Славецкий сжатыми, напряжёнными губами.

— Страх ничему не может учить, господа, — Илья называл всех господами, дабы скрыть этим словом разницу в возрасте, на которую так любили указывать полковник и Зубр. — Страх только парализует...

— Если человек говорит то, что думает, думает ли он? — Славецкий то ли сочинял афоризмы на ходу, то ли вспоминал, трудно было понять.

Иван Петрович поднял бровь и задумчиво смотрел на полковника и Славецкого.

— Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные, — Зубр расценил поднятую бровь Ивана Петровича как добрый знак и продолжал уже увереннее. — Руководство России заняло решительную позицию по Союзному договору, стремясь к единству Советского Союза, единству России.

Вдруг вошли Саша и Оля, с явным неудовольствием посмотрели на чтеца и с большим нетерпением — на телевизор.

— Девочки, а вы послушайте, послушайте! Это документ века, — усаживал их настойчиво Сергеевич, но они выкручивались из властных рук, играя точно с ровесником. — Когда-нибудь будете рассказывать всем, что держали в руках эту листовку, — и изменил тон голоса с предназначенного для детей на взрослый. — Наша позиция по этому вопросу позволила существенно ускорить подготовку договора, — продолжал грудным голосом маленький римлянин, как окрестила его хозяйка салона, — согласовать его со всеми республиками и определить дату его подписания — 20 августа сего года.

— Мама, а по телевизору сейчас идут мультики, — сжимала Сашенька жаркий влажный кулачок, ей было до слёз обидно, что её не считают за взрослую.

— Сашенька! — остановила её Кира. — Это для всех сейчас действительно важнее мультиков. И посмотри, какие у нас люди собрались!

Наташа вынырнула из кухни, бросив жарить. Как только дело касалось Сашеньки — она всё видела и всё слышала.

— Одной женщине нужно двадцать лет, чтобы сделать из своего сына человека, а другой достаточно получаса, чтобы превратить человека в глупое дитя.

Все молчаливо одобрили её речь, и она, довольная, опять удалилась на кухню готовить что-нибудь вкусенькое для девочек и гостей.

— Такое развитие вызывало озлобление реакционных сил, толкало их на безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем силовыми методами, — Зубр помолчал секунд тридцать, втягивая губы, так что полоска рта стала узкой и бледной. — Ранее уже предпринимались попытки переворота, — повысив голос, маленький римлянин выкрикивал, будто бы

с броневика. — Всё это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.

Корнев не повышал голос и не говорил, когда все спешат высказаться. От напряжения у него только поднималась бровь, и он чаще поводил плечом, словно был неудобно пошит пиджак.

— Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам! — Зубр широко расставил ноги, возвысил голос. — Призываем граждан России вернуть страну к нормальному конституционному развитию.

Иван Петрович Корнев повёл плечом, как будто ему что-то мешало.

— Безусловно, необходимо обеспечить возможность Горбачёву выступить перед народом. Требуем немедленного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР, — Зубр посмотрел на всех кавказским сталинским взглядом.

Борис Константинович закашлялся.

Славецкий встал, достал сигарету.

— Через край нальёшь, через край и пойдёт, — хотел выйти, но, постояв минуту, опять сел, убрал сигарету, руки скрестились на груди, успокоились. — Да, всё было хорошо... Открытые люки посреди тротуаров, неубранная гололедица.

— Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и незаконно потерявшим всякий стыд и совесть путчистам. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте.

Маленький римлянин оглашал текст листовки с безотчётным упорством.

— То государство на краю пропасти, правители которого внимают моральным проповедям явных проходимцев, — процитировал чьи-то мысли Вадим Николаевич.

Иван Петрович Корнев посмотрел на него, как на того проходимца, о котором шла речь.

— Надо всем коммунистам отмежеваться от политики Горбачёва и нового государственного деятеля, — составлял на скорую руку свои директивы полковник.

— Можно и зайца научить спички зажигать: море крови, море боли... — приветливо, примиряюще усмехнулась Кира. — Но кому это нужно?

— Да, — страхнул запал начавшегося спора полковник. — Вот и думай, в какой трубе дорогу проложить.

— До выполнения этих требований призываем ко всеобщей бессрочной забастовке, — лидер триумvirата, коим хотел себя считать Зубр, стал спешить, и призывы получались невнятные. — Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота.

— Мировая жизнь, как говорит моя хозяйка, — напряжённо усмехался Славецкий. — Все сыты — хорошо живём! Цены мировые. Культура — антиценность?

— Что делать? — взметнул Вадим Николаевич глаза, наполненные мистическим испугом. — Культура — это иная реальность? Культуру на рынок?

— Рынок — это опасная игра в нашем царстве-государстве! — волновался полковник. — Захлёстывает инфляция, безработица, преступность. Уходим в штопор!

Потом он протянул Славецкому отпечатанный листок, через минуту забрал. Славецкий начал как бы стесняться и держался от него в стороне. Это было неестественно. Полковник поставил указательный палец на подписи Ельцина, Силаева, Хасбулатова. Подписи были отскерокопированы, но всё-таки вызывали у Вадима Николаевича мистическое поклонение.

— Верховный Совет СССР должен немедленно провести расследование, — горячился полковник. — Это всё влияние западной буржуазии.

— Восточная? — вставил Славецкий. — Накормим баранов шашлыками?!

— Нужно создать везде рабочие комитеты! — опять ворвался звонкий, как удары по металлу, голос Зубра.

— Горбачёв развалил государство. Исключить его из партии! — ходил по комнатам, чеканя шаг, полковник. Это выглядело смешно и походило на старую прусскую парадную маршировку. — Никакой рыночной авантюры! Объединиться и сохранить страну!

— Какая забастовка? — возмутился Илья. — Кто будет добывать уголь, нефть, природный газ? Катастрофа! Начнётся топливно-энергетический кризис, а там и остановится всё производство!

— Идея не инструмент, который можно менять. — Славецкий скрутил листовку и смотрел в неё, как в подозрную трубу. — Суверенизация и демократизация. Когда в шестьдесят пятом году в Штатах произошла авария в энергетике, централизовали энергетические системы.

Зазвонил телефон, и Кира вышла.

— Позвонил бы сейчас товарищ Сталин и все ваши вопросы в один миг бы решил! — У Славецкого насмешливые глаза, будто в шестом колене у него были предки с Востока, но больше в лице ничего подобного не проглядывало — над всем может посмеяться, и при этом даже уголки губ не шевельнутся.

— Не будем стадом! — призвал всех по старой педагогической привычке Вадим Николаевич, вспоминая, как дети на уроке подожгли шторы. А он, начинающий учитель, не выдержав, швырнул подростка так, что тот врезался головой в батарею. — Раскол общества — вот самое опасное, что может быть. Нельзя допустить кровопролития!

— Обнищание страшнее всех расколов, — заметила Мария, стесняясь своего голоса. Словно в собрании мужчин женское присутствие было неуместно (когда в салоне была Кира, такого чувства не возникало).

— Людям показан виновник всех бед — КПСС! — подливал масла в огонь Славецкий. — Семьдесят лет отучали людей от денег, и теперь они стали очень падки на них.

— Кем показан?! — вспыхнул полковник. — Кто был падким, тот падким и остался.

— Страх научил не высовываться, не брать на себя ответственность, — Славецкий стал заводитьсь, невольно нарушая своё правило приводить в доказательство только аргументы и факты. — Вчера пели хвалу Брежневу, сегодня — новым идолам — Яковлеву и Шеварднадзе. Кого же они, интересно, завтра сочтут инакомыслящим? Те, кто обманул вчера, обманут и сегодня. А реальная власть у них и при Советах была, и сегодня останется. Вопрос: что ими движет?

— Страх, — повёл плечом Корнев. — Страх потерять эту власть.

— Психология, — возразил Славецкий. — Победителей не судят? А судят не по результату, а по отчёту. Распространение халтуры.

Зубр от такой подсказки вскочил.

— Как только вырвем у них власть — им крышка!

— Не потеряет власти тот, кто умеет обещать, — Славецкий точно не замечал выпадов маленького римлянина из триумvirата, зная, что тот против него ничего не осмелится сделать. — Много чего можно пообещать: коммунистический рай ещё долго будет пьянить умы обнищавших крестьян и рабочих. Они ведь сами книжек, брошюр и листовок не читают, а ждут «вот приедет барин, барин нас рассудит». А барин нынче не дурак, он пересказывает им все притчи по-своему. И поверят, и пойдут, и сломают всё, что построили. Русский народ ещё долго будет верить в своего Бога, вспоминать, что царь был убит. Дали команду: «Перестройсь!» Раз! Два! И на два — не узнаешь, кто где был.

— Власть! Власть нужна! — полковник стукнул себя кулаком по колену.

— Ради захвата власти они сегодня и создают врагов, сталкивают лбами простых людей, — правая бровь Корнева приподнималась, что было признаком особого волнения.

— Серая созидающая масса — миллионы, миллиарды — неспособна переродиться в предпринимателей! А они тоже за перестройку?! — заметил Вадим Николаевич.

— Можно одним махом всё взорвать, завалить, уничтожить, и ничего из того, что было, нельзя будет восстановить. — Мария почему-то вспомнила деревню. — А можно разобрать по кирпичику, сохранить то, что пригодится. Перестройка перестройке рознь. Не только материал, но и время дорого.

— Какое время, послушай?! Уничтожить всех русских хотят! Ты что, женщина, этого не понимаешь? Я пятнадцать лет прожил на Кавказе, это там давно началось, только вы здесь не видите. Что, это непонятно кому-то?! — Зубр подошёл к Славецкому, пристально посмотрел ему в глаза и продолжил, понизив голос до угрожающего шёпота: — Я говорю как офицер русской армии! Офицер — это костяк любой боевой единицы. Если у этих маразматиков паралич власти — возьмём всё в свои руки!

— Армия сегодня на правах пасынка и громоотвода! — полковник явно не выдерживал натиска русского кавказца. — Какая-то злая сила разваливает то небольшое стабильное, что осталось. Кому-то нужно спровоцировать вооружённые силы на неправильные действия.

Маленький римлянин теперь стоял, широко расставив ноги. Он со злобной усмешкой бросал слова прямо ему в лицо:

— Полковники сказки русские народные рассказывают! Какая-то злая сила! — он саркастически передразнил его. — Не знаешь, какая сила? Сионисты всего мира на вселенские соборы собираются, чтобы на наших православных могилах пляски устроить!

Кира не любила таких намёков и не допускала их, но её, к счастью кавказца, в салоне в эту минуту не было.

Над всеми повисла напряжённая тишина. Полковник спокойно смотрел на своего горячего оппонента.

— Срывать маски надо! — выкрикнул маленький римлянин.

— В июле Верховным Советом СССР принят закон «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий», — Вадим Николаевич считал законы и положения таким же объективным фактом, как зима, лето и осень.

— Этот закон противоречит действующей конституции, — негромко заметил Иван Петрович. — Был референдум.

— У нас было могучее государство! Послушай, кто и когда мог победить Русь?! Что вы притихли по углам, русичи?!

— Не надо кричать, — Вадим Николаевич изобразил на лице трагическое ощущение творческой неполноценности. Он даже прикрыл ухо рукой, а другой гладил ткань пиджака. Он был похож на человека, который заковал себя в броню, она его душит, а он не хочет вырваться. Или не может.

— Дельцы, теневики, спекулянты! Нашлись иуды, это реванш за семнадцатый год! — Зубру критика Вадима Грекова не мешала, он не сбивался от его ремарок, слишком хорошо знал, что это за критик, не вылезший из пелёнок поэзии и прозы. — Иуды ничего не собирались перестраивать ни тогда, ни сейчас. Послушай, а иудам что нужно? Хаос, голод и нищета русского народа! Объявят частную собственность на землю, раскупят Россию по клочкам. Гитлер не завоевал — иуды голыми руками возьмут.

— А у тебя отец кто? — Вадим Николаевич умел вводить в заблуждение.

— Иуда — это не еврей и не жид, это мутант. Это изгой! Предатель! Он ни там, ни здесь не нужен! Израильской колонией сделают нас, а потом и их уберут...

— На Севере ни при царях, ни после них не было частной собственности на землю. Так и осталась тайга нетронутой, — Славецкий выдержал паузу.

— Что ты хочешь этим сказать? — Зубр упорно не сводил прямого взгляда со Славецкого.

— Двадцатого июля Ельцин подписал указ, — Славецкий спокойно выдерживал все выпады Зубра, словно тот был отделён от него решёткой, — «О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР».

— Да это же реакционная диктатура! — полковник больше не мог себя сдерживать и не хотел — все были свои. — Открытая дорога захвату экономической и политической власти доморощенной буржуазии в союзе с коррумпированной бюрократией!

Зубр вплотную подошёл к полковнику.

— Надо призвать всех к борьбе — отменить указ. Это оборотень!

— А Яковлев заявил, — Корнев обычно не принимал участия в дебатах этого салона, но сегодня заговорил. Бывший член Политбюро ЦК КПСС, он отвечал за идеологию. — Яковлев заявил: «Пришёл я к отрицанию марксизма как руководства к действию, к констатации поражения социализма».

— Главный исполнитель проявил себя! — вынес приговор Зубр.

— Академика ему дали. Развивал марксизм и социализм! — Мария решила не говорить, но так разволновалась от всего происходящего, что не удержалась от полемики.

— Противник, лишённый идеологии, — громко, отчётливо выдавал слова полковник, — превращается из организованной силы в слепое стадо!

— Надо было давно предвидеть такой оборот, — заметил Славецкий, припоминая газетный факт. — Ещё Рейган в бытность президентом говорил, что марксизм скоро окажется на свалке истории. Коммунизм отвергает вечные истины, он отменяет религию и мораль.

— Ложь! — вскрикнул полковник, точно его ударили. — Клевета!

— Извиняйте, это к товарищу Марксу... «Коммунистический манифест» призабыли. А Ленин толковал позже рабочему классу: «Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата».

— Положитесь на меня! — громко, с риторичной экзальтацией призывал маленький римлянин. — Вот что мне сейчас нужно! — он ткнул в газету пальцем так, что в ней образовалась дырка. — Из выступления президента Всемирного еврейского конгресса. Горбачёв заверил, что внешняя политика остаётся неизменной. Новым подтверждением тому стало и назначение посла Бессмертных на пост министра иностранных дел. Но мне кажется, у Горбачёва нет долгосрочного стратегического плана: он, как у нас говорят, «стреляет от бедра». Он блестящий тактик, умеет менять лошадей. Взгляните, где люди, которые с ним начинали? Где Яковлев? Я встречался с Яковлевым. Никогда ещё мне не приходилось видеть столь мрачного настроения — разве что, пожалуй, у Шеварднадзе.

Кира кивнула Марии, и они удалились из мужского собрания, что им эти политические евнухи. «Вот, — думала Кира, — я — княжна, а она — дочь дипломата». И усмехнулась.

Корнев чувствовал напряжение других, вертикальная складка прорезала высокий лоб, и от того, что морщин на лице почти не было, это говорило о многом. В нём росло волнение. Он хотел встать, пройтись по комнате, как это делал во время работы, но только повёл плечом, словно пиджак ему жал. Но здесь разоблачиться было неловко.

— Когда мы с Горбачёвым, — маленький римлянин произносил так, словно это он был с Горбачёвым в культурном центре «Уай» в Нью-Йорке, а не президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар Бронфман, — когда мы с Горбачёвым беседовали, я говорил ему о нашей тревоге по поводу его значительного сближения с консерваторами. Он ответил: «Вам придётся в этом на меня положиться, я знаю, что надо делать. Вопрос лишь в том, в какое положение переведён у меня рычаг скоростей. Мы движемся вперёд, просто с разной скоростью». — Маленький римлянин вытянул вперёд руку, костлявую, мускулистую, с широкой прямоугольной ладонью.

Вадим Николаевич потянулся за газетой и, как только получил её, уточнил для всех:

— «Советская Россия», 22 января, 1991 год. К семидесятилетию Сталина взяли и закрыли Пушкинский музей изобразительных искусств. И стал Музей подарков Иосифу.

— Цель этих рекомендаций известна! — резюмировал полковник, игнорируя музейную восточную усмешку Она. — Отдать нас во власть международных монополий! На закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня Крючков показал один документик «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». Они проводили обучение наших людей, проталкивали кого надо в сферу управления политикой и экономикой. Саботаж, извращение партийных указаний — всё из ЦРУ. Они задерживают развитие нашей экономики! Они и науку пустили по тупиковым направлениям!

Корнев на это заметил, прибегая, как всегда, к поддержке только фактов:

— Калугин — бывший генерал КГБ, а ныне народный депутат СССР. А Крючков — председатель КГБ. Сто тринадцать наименований политической литературы разом исчезло с прилавков... — Корнев повёл плечом. — Речи Горбачёва о роли партии, о социалистическом выборе, о коммунистической идеологии. Сорок четыре произведения — и ни одного.

— Списали на свалку! — выкрикнул, сардонически смеясь, Зубр.

— Вот опять вы о свалках, — с глубоким сожалением произнёс Илья. — Взгляд должен быть устремлён к свету, а не в разъедающий душу мрак.

— Директива от Союзного Главка, — внёс поправку Славецкий со скрытой улыбкой. — Семьдесят лет думали, глядя вверх на начальство и вниз на пролетариат... Подобострастие и пренебрежение — две стороны одной медали.

Полковник гневно обрубил:

— Иностранцы больше болеют за нашу перестройку, чем мы сами. Особенно пекутся о судьбе Горбачёва. Для них вопрос выживаемости Горбачёва чуть ли не главный на сегодняшний день.

— Они болеют за всех. Буш предсказал Горбачёва ещё весной восемьдесят четвёртого года, — привёл Славецкий факт давно минувших лет, не зря ежегодно выписывал «Аргументы и факты». — Дипломат предложил избрать генеральным секретарём ЦК КПСС Горбачёва.

— А почему? — взметнулся маленький римлянин.

— На этот вопрос мог ответить только Мистер «нет», — с тонкой улыбкой заметил ему Славецкий. — Буш... Скоро и эти поймут, что им было куда спокойнее за железным занавесом. Армия в шестьдесят тысяч частных охранников. Что начнётся, когда закончится перестройка? Русский — он какой? Здесь перестроит, пойдёт перестраивать Европу, а потом и до мыса Доброй Надежды доберётся, его не остановишь.

Улыбка Славецкого, а особенно смех, вот такой, какой он сейчас не смог скрыть, действовали на вологодского кавказца как красный плащ тореадора на разъярённого быка.

Пока маленький римлянин с трудом гасил свою горячность, Вадим Николаевич позволил и себе вступить в симфонию разговора:

— Господин Коль призвал усилить кампанию по сбору средств.

— Когда закончится перестройка, — наконец к вологодскому кавказцу вернулась способность говорить, — ни одного русского не останется.

— Я останусь русским и останусь коммунистом, — заверил всех полковник.

— Соперничество Горбачёва и нового государственного деятеля существует лишь для видимости, — бровь у Корнева поднялась ещё выше.

— Да, это сиамские близнецы! — поставил диагноз кавказец. — Слушай, это предательство невиданных мировых масштабов!

Зубр бегал по салону, нелепо запинаясь.

— У людей была социальная защищённость... Но за счёт чего? — задал наконец вопрос и Вадим Николаевич и сам же на него поспешил ответить. — За счёт свободы... Перестройка, конечно, нужна, но так, чтобы пролилось меньше крови.

— Крови! — набросился на него кавказец, и если бы у него оказались рога, то наш тореадор благодаря лёгкому весу взлетел бы прямо на подвески хрустальной люстры из Парижа. Напрасно надеялся Вадим Николаевич, что этот театральный плащ принесёт ему успех у публики. — Крови! — взревел кавказец голосом, способным сотрясти и горы. — Ты что, в прорабы хочешь пойти? — тут у оратора выскочило из головы имя того, кого считали архитектором перестройки. — За тридцать три сребреника! — он второпях выхватил из брючного кармана бумажные деньги, но, пошарив ещё, отыскал металлическую монету и со звоном

швырнул её об пол, денежка закатилась под кресло, в котором сидел Он Славецкий.

«Прораб перестройки» — мелко, планктон, а вот «архитектор жизни» — это величественно.

Он наклонился, достал сребреник и стал подбрасывать монету на ладони.

«Орёл? Нет... Решка», — состроил он рожицу Буратино, у которого собираются отнять капитал.

Оля рассмеялась, но, видя, что никто не отважился смеяться и Вадим Николаевич строго и с осуждением смотрит на неё, выскочила из комнаты.

— Один высокопоставленный советский чиновник сказал, что за семьдесят лет мы построили систему, безразличную к человеку, враждебную ему, — Вадим Николаевич сделал смысловую паузу перед тем, как назвать фамилию, которую не мог припомнить кавказец. — Яковлев был по-граждански честен.

— Яковлев — главный архитектор перестройки! — посмотрел пристально Зубр на Грекова, словно разгадывая тайну Киры, связанную с триумвиратом.

— Не Яковлев подчиняется Горбачёву, а наоборот! Слушай, какая степень посвящения, а?

— Никакой тайны нет, вот уже два года, как нет коммунистической диктатуры в Польше, Германии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии. За четыре месяца рухнули, — напомнил Он.

Вошла Наташа и любезно напомнила, что пирог получился великолепный и через несколько минут всех просят отведать его.

— Есть такая примета, господа, — ей хотелось подольше побыть в поле зрения полковника. — Подавая соль — смейся, не то поссоришься.

— Спорить спорь, а браниться грех, — вошла за нею следом и Фёдоровна.

Они управились с кухней и тоже хотели поговорить с умными людьми.

— Однажды я рассказывала Сашеньке сказку, — усаживалась Наташа на диванчике. — «...И тогда они поженились», — закончила я. — «Бабушка, а почему сказка всегда кончается, как только любящие поженятся?»

— Супружеские оковы так тяжелы, что их можно нести только вдвоём, а иногда и втроём, — напряжённые губы Славецкого слегка расслабились.

— Одному философу задали вопрос. Хи-хи, — усмехнулся погружённый в себя Греков, — какие женщины, по его мнению, склонны к большей верности: брюнетки или блондинки. Философ ответил, не задумываясь: «Седые».

— А ведь не всё у нас готово! — всплеснула руками дородная Фёдоровна.

Следом за ней, похихикивая, удалилась и Наташа, унося во взгляде завистливое нетерпение.

— Рабочих отодвинули от распределения продуктов труда. — Возмущение Андрея Зубра не угасло, а словно усилилось после небольшой передышки. — Как они могут влиять на производство и общество?

— Либерализация — это просто повышение цен, — заметил Вадим Николаевич. — Цена на рабочую силу не растёт.

— А что сделали для простого человека приходящие на смену советской власти?! — задал риторический вопрос бывший лётчик-истребитель.

— Лжедемократия вытеснила рабочих из законодательных органов! — утверждал маленький римлянин, член триумvirата. — Где органы самоуправления? В двадцать девятом году травят Евгения Замятина и Бориса Пильняка за то, что их публикуют за границей. — Взгляд его, ни на ком не задерживаясь, ищет что-то вдаль, Славецкий переживал прошедшее не как вчерашний день, а извлекая в сегодняшние будни. — Пильняк кается, а Замятин умер на чужбине.

Наконец Зубр нашёл где-то у себя ещё клочок листовки и стал поспешно читать, словно боясь, что явится жандармерия на тайную конспиративную квартиру и арестует всех, а его при наличии документа сошлют в сибирскую каторгу.

— Резолюция «О возрождении Советской власти — гарантии политических и экономических интересов трудящихся», — прочитал заглавие и сразу перешёл к концу. — «Съезд рекомендует органам рабочего самоуправления взять под контроль распределение прибыли предприятий, приобретаемых товаров (в том числе за валюту), жилья и добиться полной гласности в этих вопросах, переходить к найму администрации на контрактной основе, определив коэффициент оплаты

её труда в зависимости от средней зарплаты рабочих», — стремительно встал, вытянул руку вперёд, но сразу собрал пальцы жменькой и опустил. — Нищие просят подаяние уже у самых стен Кремля!

— Буш предоставил кредиты для закупки зерна, — вставил ремарку Вадим Николаевич. — Бейкер срочно приехал в Союз для встречи с новым министром.

— Сталин за два года восстановил экономику после войны! — как с трибуны, зазвучал уверенный голос полковника. — Мы первыми из всей Западной Европы ликвидировали продовольственные карточки! На вожжах и лошадь умна.

Славецкий продолжал играть в «орёл-решку», говоря:

— Тридцать четвёртый год. Создаётся Союз писателей. Воздерживаются вступать Андрей Платонов, Булгаков, Ахматова. От преступлений Сталина содрогался весь мир.

— Всё вешать на Сталина? — вспыхнул маленький римлянин.

— Нельзя объяснять историю только национальным фактором, — задетый за живое, на пределе спокойствия пытался возразить Вадим Николаевич. — Сегодня у нас свобода печати, какой не знала Россия.

Зубр, пользуясь свободой слова и печати, опять стал читать, он всё никак не мог успокоиться, словно ему надо было непременно выработать политическое соглашение трёх лиц для совместных действий.

— «Резолюция «Об отношении к курсу на приватизацию». Съезд рабочих Москвы выступает против курса на приватизацию. Такой курс в корне противоречит экономическим интересам трудящихся и Конституции СССР, которая исключает превращение предприятий, земли и рабочей силы в предмет купли-продажи и спекуляции, — он затих, прочитывая про себя несколько абзацев. — Съезд заключает: настоящими хозяевами производства трудящихся сделают не приватизация и муниципализация, а безотлагательная передача всех предприятий под рабочий контроль и рабочее управление.

17. Нехотяй

Под спуском — приглушённый гул города. Здесь в одноэтажных домишках течёт обычная жизнь. На углу кривого переулка — горбатый

столбик колонки. Слева к реке — полуразрушенная церковь, ниже, почти у воды, — ещё церковь: в первой хранят стройматериалы, в другой — мрак запустения. Второе десятилетие река подмывает, подтачивает старый крепкий фундамент.

Хозяйка, у которой Он Славецкий снимал подвальчик, проживала здесь всю жизнь. Жизнью она называла ту часть бытия, которая протекала после войны. Войну же не вспоминала никогда, и забылось всё, что было до войны. Сама бабка жила в комнате очень низенькой с двумя покосившимися окошками на улицу и печкой посреди комнаты, квартиранту же сдавала нижнее помещение и брала с него недорого. Она жалела его, чувствовала и понимала его одиночество, как своё. Когда рядом человек, даже квартирант, всегда есть с кем поговорить.

С утра под полом было тихо, к обеду она слышала, как квартирант куда-то уходил, и снова наступала тишина. Сейчас она опять ясно услышала, как он начал ходить. Поднялся, стало быть. Не спит. Степанида налила в металлическую миску щей из алюминиевой кастрюли, отрезала ломоть хлеба потолще и толкнула плечом дверь на улицу. Чтобы квартирант её увидел, она постояла у его низкого окошка, чуть пригнулась, но, не увидев его, пошла к дощатой двери. Стояла, ждала, она тоже знала привычки квартиранта. Его неторопливость ей даже была по душе.

— Все сейчас недовольны, — поставила она миску на старую обшарпанную тумбочку возле его кровати. — Все плачут: у всех горе. У кого бисер мелкий, у кого похлёбка жидкая. Ты ешь, пока не остыли щи. Вчера костей свиных взяла и кочан капусты. Хороши получились, я две миски стрескала.

— Не хочу, спасибо!

— Нехотят какой! А ты встань да похлебай, а потом скажешь! Хоть батька у тебя и был дипломат, а ты будь проще, будь с народом. Женись. Всякая женщина — сирота без мужчины.

Эта странная хозяйка подвала нравилась Славецкому тем, что была скупа на слова. И то, что она приходила и садилась на табурет, его не раздражало и почти не вызывало никаких эмоций. Он привык в своём жильё и к кошке, которая заходила раза три в неделю, и к мышам, которые шастали в любое время, словно оспаривая истинное право на жильё под полом. Он не платит за квартиру третий месяц и сейчас

похож на постояльца из милости. Но это «из милости» сейчас даже ближе, теплее.

— Сначала чёрный хлеб ели, — говорит бабка своё, не требующее ни ответа, ни понимания. — Потом белого наелись. — Её большие узловатые руки спокойны, как вывороченные из-под земли корни старой липы. — Потом мясо есть стали. Только жить начали. Жизнь сейчас мировая! Сыты все. — Пальцы скрючены, выпяченные бугристые суставы не разгибались.

Её ни хандра, ни тоска уже не мучили, она была недоступна этой блажи. Давно отстоялась вся муть жизни, и теперь Степанида жила ясно и понятно. Её простая, с годами нажитая мудрость успокаивала и уравнивала Славецкого. Он смотрел в окно — стайка воробьёв дралась, таща грязную хлебную корку.

— Всяк себе мякиш, — вздохнула Степанида, посмотрев на постояльца. — Жениться бы тебе, Нехотяй!

Он ответил мысленно сам себе: «Он знает, что значит жить и в теле мужчины, и в теле женщины. Он слишком хорошо знает не только одну половину человечества. Он знает, кто больше получает наслаждения. Тот, кто сильнее». Гера зря упрекала Зевса. А Зевс, оправдываясь, внушал ей, что женщина больше получает наслаждения.

— Это у меня пройдено, — отвечал он не сразу. Она не обижалась, когда он и совсем молчал или говорил одну фразу: — Всё изжито.

— Мужчина в любом возрасте жених, — старухе захотелось погладить этого брошенного и забытого всеми ещё не старого мужика. Он ей казался то сыном, то мужем, вернувшимся из мрака смерти, то братом... — Мать-то у тебя жива?

— Живёт.

— Говоришь ты быстро. Кто-то с Украины, видать, у тебя был? — любопытничала Степанида.

— Во мне столько кровей намешано! — отмахнулся Славецкий. — Винегрет.

— Быстрый разговор у тебя, а говоришь — думать надо. Шутишь всё...

— За шутки редко платят, за них чаще расплачиваются. Наша жизнь, она как скорый поезд: станешь на её пути — разнесёт в куски, отбежишь в сторону — проскочит мимо.

— Так и жили... Снег растает — бегаем босиком, пока снег снова не пойдёт. Хотели — не хотели, нас никто не спрашивал.

— Ели друг друга поедом и тем были сыты. А счастье?

— Я живу — вот это моё счастье. Не дорог квас, дорога изюминка в квасу.

Он не понял сначала, а когда дошло, какой-то яркий светящийся луч пронзил его, как фонарик в темноте. Славецкий был поражён этой ясностью и простотой.

Степанида встала и пошла к двери, словно высказала что-то лишнее или сокровенное.

Он довольно быстро выхлебал щи со свежей капустой, с причмоком обглодал свиную кость. Покашлял и возобновил лёжку на ворсистой медвежьей шкуре. Сырая полутёмная комнатуха выстыла, но лежать на шкуре под шерстяным одеялом без пододеяльника было тепло, а тепло давало ощущение покоя, и он засыпал. В этой лёжке, как Он сам называл, он находился уже третий день. Это было состояние не сна и не бодрствования, не тоски и не уравновешенного покоя, что-то промежуточное, неясное. Мысль пребывала в вакууме чувств и ощущений. Иногда казалось, что теряется сама привязанность ко времени. Это состояние «лёжки» создавало ощущение оторванности от мира: он погружался в себя, почти ничего не ел и не пил, уходил весь в созерцание иной, скрытой, недоступной никому жизни своего «Я».

«Как начал думать, так с тобой невозможно стало жить», — вспоминал Он упрёки жены. И жить, и думать одновременно он не мог: ему было присуще или жить, не думая, или впасть в лёжку и думать. Думать и творить свои афоризмы. Его любили и боялись за эти точные, как тибетская игла, словечки. Кажется, он ими и думал, и жил, и вся его энергия жизни уходила на эту внутреннюю игру, вкусные смачные фразы. Здесь, под бугром, к нему чаще стало приходить состояние полной отрешённости до мистического ощущения потери плотской оболочки. Но в моменты такого космического воспарения Славецкий начинал бояться высоты: то ли болезнь, то ли боязнь полного отрыва от мира на земле. И он открывал глаза, спешил увидеть низкий потолок, по которому шаркала хозяйка.

День перевалил за полдень. «Теперь ты сам себе и начальник, и подчинённый», — говорил ему отец-чекист незадолго до смерти.

Славецкий опять пытался погрузиться в созерцание воспоминаний. И вдруг явилась перед ним женщина, видение смутное, в серо-зелёных красках, не поэтическое. В её шагах был скрип, цвет лица, как рассвет в земляном окне, пальцы рук, как воробьиные лапки. Но вот появилась кошка, и всё задвигалось, зашевелилось. Этой брошенной кошечке с плоской мордой и длинной свалывшейся шерстью он позволил юркнуть в сенцы, она проскользнула мимо печи и прыгнула на кровать. Кошка ласкалась только в дождливые, морозные дни да с голоду, когда же было тепло и сытно, шла мимо, даже в окошко не заглядывала. И воробьи не прыгают по оскудевшей земле. И ничего за окном не происходит. Это апатия, духовный паралич. Не онегинский сплин и не печоринская возвышенная отрешённость от людей. Он это знает. Всё по-другому, иначе, тяжелей. Он это чувствует. В подвальчике ночь наступает раньше, чем наверху. Сумерки сгущаются, окно начинает отражать не небо, а землю, чёрная земля гасит свет синего неба. Славецкий, если один в это время, не включает свет. И сегодня он опять наблюдает медленную игру дня и ночи. Он приучил себя ничего не хотеть.

Когда уходит свет из комнатки, он чувствует, как уходит ещё один день жизни. Славецкий лежит на ворсистой нагретой шкуре, комок подушки под головой. Каморка Раскольниковова — уровнем выше, там не отстаивают мыши своих прав, уж по одной этой причине не идёт ни в какое сравнение. Человек он что-то вроде Ежевикаина, едкий, умный, неудачливый. Достоевский схватил этот тип в его зародыше, первооснове, но жизнь за свой век порой меняет всходы до неузнаваемости. Наш Телесий Нехотяевич ролью неудачника, в общем-то, был доволен и имидж менять не только не желал, но и не стал бы ни на каких условиях. Ибо жить потом было бы нечем. Он не искал удачи и даже бежал от неё. А так как удача и не преследовала особенно, то на тайного режиссёра своей судьбы он не был в обиде. Казалось, его увлекала не столько жизнь наша настоящая — жизнь большой сцены, сколько та, закулисная, стихийная и единственно реальная сейчас для него — жизнь души, как он её понимал. Но сегодня его, кажется, перестала интересовать и та сторона жизни, и другая. «Всё уже было...» Он лежал, но никогда не засыпал в сумерках, а находился в каком-то забытии. Мысли приходили к нему яркие, отточенные, и он жадно ждал их, как ждут встречи с женщиной моряки после долгого плавания.

Самое страшное то, что люди продолжают ещё жить по законам войны: ты умрёшь сегодня, а я — завтра. Сегодня, сейчас я хочу жить! Разрушающая сила — инстинкт — страх смерти? Всё дело в крови. Кровь ещё не переработана, война не изжита. Вадим Греков — боец, он никогда не потеряет желание жить.

Темнота и холод сгущали ощущение одиночества. Этот сгусток висел над ним, как стёршийся звук. В такие ночи он не замечал, как засыпал, а иногда, ворочаясь на шкуре медведя, спрашивал себя: «Сплю или нет?» Явь переходит в сон и возвращается как-то сама по себе, без пробуждения. В такие минуты перехода воскресают самые точные и меткие словечки, и он пытался растянуть и зафиксировать эти бесконечно короткие и благоговейные мгновения. Но ему опять не удаётся приостановить, зафиксировать волевым разумом этот миг. Всё приходит неожиданно, но и не совсем случайно. Эта игра в ожидание вот-вот обернётся насмешкой, фарсом, игрой ради игры. И станет живое мёртвым. Заснуть можно сразу, а можно попробовать растянуть на долгие часы таинственно-непредсказуемой ночи. Если заснуть сразу, то не надо думать, топить или не топить печь. Он поджал колени, подоткнул по бокам рубленое одеяло. Дышать под одеялом тяжело — сильно пахнет шкурой. Высунул нос, как из норы. На углу кровати что-то чёрное и безобразное, как комок грязи. Грязь шевельнулась, дрогнула, и от неё в виде хвоста поползла тень. «Крыса!» Жуткая тень сковала разум и волю. Кладбищенский холод и подвальный затхлость. Сердце остановилось, но то ли пульс слышен был, то ли удары маятника часов над потолком. Крыса приблизилась, хищно подёргивалась её нижняя челюсть.

Вскочил. Свет! Тумбочка, стул, печка. Если сжечь несколько поленьев — можно сварить сливуху. Дрова в сарае. Идти не хочется. Он лёг на не остывшую ещё шкуру — стало по-звериному тепло. Натянул два байковых, грубо зашитых, порезанных комендантом для списывания в общежитии одеяла, сверху расправил драповое зеленоватое довоенное отцовское пальто, отданное ему из дома за ненадобностью. Он находил теперь особое какое-то удовольствие в вещах, выброшенных за ненадобностью. Продолговатый металлический шарик, маленький, как воробьиное яичко... Финтифлюшка от старинной кровати. Он протянул руку к тумбочке и на ощупь взял холодный кругляш.

Ненужным вещам он пытался придумать и вернуть нужность, чтобы словно прожить жизнь их хозяев. Он не стал Плюшкиным, для него в вещи таилась жизнь тех, кто с ней соприкасался. Познать женскую жизнь? Кто больше получает наслаждений — загадка жены Посейдона разгадана.

Наконец вышел на улицу. Нащупал несколько коротких поленьев в сарае, столько, чтобы хватило жара и огня свариться, упреть пшёнке. Разгорались дрова лениво, точно со сна не желая просыпаться. На часы он ночью смотреть не любил. Вот Вадим, тот страстно угадывал час и минуту и сверял свою интуитивную точность с астрономической.

* * *

Он, не закрывая дверцу печи, сел ждать и греться у дровяного огня. Сливуха забулькала. Запах варящейся пищи внёс что-то живое в воздух. Он всыпал соль. Вдруг за окном раздались топающие шаги. Полминуты было тихо. Затем бухающие удары. Дверь подвальчика дощатая, тонкая, но засов старинный и надёжный. На мгновенье всё стихло. Шаги отпечатались у окна, и стекло, гулко звеня под ударами костяшек пальцев, дребезжало.

— Что надо? — отозвался Славецкий.

В ответ дверь опять задёргалась. Забухало сильнее.

— Открывай! Слышишь?! Живее!

Он медленно выдвинул ржавый засов, оставив дверь в комнату открытой. Крупный мужик, дыша перегаром, сильно толкнул его в грудь, поспешно протиснулся по узкому проходу между стеллажами с книгами. За ним прошёл ещё один, низенький и толстый. Он стоял, прислонившись к книгам, боли от удара не было, но всё ещё оставалось ощущение, что чужая рука толкает его.

— Ну что, жидёнок? — прохрипели из комнатки. — Сжечь нас захотел?

Славецкий вспомнил отца. Если сохранять спокойствие, то можно в любой ситуации выиграть время. А если есть время, можно балансировать и не разбиться. Время — лучший советчик.

Время шло. В комнате что-то загремело, покатилося... Мат оборвался, и обе тёмные фигуры вынырнули из подвальчика. Когда

они проходили, Он отвернулся, чтобы не притягивать взглядом, глубже отступил в темноту книжных полок.

Утром Славецкий вышел из подвальчика и удивился высокому солнцу и спокойной ясной погоде. Нацепил висячий замок без ключа на дощатую дверь и с удовольствием вдохнул сладковатый воздух. Подниматься нужно было в город по выщербленным ступеням. «Чтобы быть в виду — надо быть на виду», — проговорил он сам себе свой афоризм, занесённый в записную книжку в прошлом году. Чем выше он поднимался, тем больше наполнялся воздух городскими звуками, словно они откуда-то сверху падали.

18. Мистер

Мария искала подтверждения словам матери. И рассказывала всё Лоле, знакомой по журналистской работе. Журналистка посоветовала собрать побольше материала и издать книгой под названием «Записки матери» или просто «Мать». Или передать архив семьи ей. Но Мария решила по-другому. Это важнее для её дочери Ольги. Если ей будет нужно, то она разберётся, расскажет.

Мама рассказывала Марии, что ходила в дом, где тайком от властей делали аборт. Она вошла — и выскочила. С тех пор женщину преследовал страх увиденного: кровь, красные куски, ошметки марли... Людей в комнате уже не было. И от этого ей показалось, что здесь не аборт сделали, а свершилось убийство.

События странным образом меняют нашу судьбу. И Евдокия в августе родила живую девочку. И заставляла себя не вспоминать, что её отец — дипломат. Только с чёрно-белого экрана иногда она видела того, кто так стремительно поднимался по карьерной лестнице к вершине пирамиды. Она же с его ребёнком оставалась на нижней ступеньке, в начале пищевой цепочки.

Дипломатия — профессия творческая, вспомним Грибоедова. И в наше время, уйдя в отставку, некоторые из них стали публицистами, писателями.

Оля, получив от матери дневниковые записи, тетради и записные книжки, пошла в архив и библиотеку. Она пыталась соединить в цельное

повествование заметки и размышления. Но как соединить время? Там, на заре советской власти, другая жизнь.

«Мистер в 54-м году на октябрьские праздники был в Москве». (Писала дочь дипломата.)

Оля спрашивала себя, говорила с собой, не доверяя эту тайную жизнь бабушки и дедушки-дипломата никому.

Как и где бабушка могла пересечься с дедушкой и получить от него ребёночка? А где мамыны три брата и сестра? Мои дяди и тётя? Я выросла без родственников. И она тоже.

История тянется из шляхетского рода.

Как караван ни поворачивай, сильный верблюд всегда будет идти впереди. Сильный человек никогда ни от чего не отказывается, он в нужный момент одно решение меняет на другое.

* * *

В дни Столыпина отец будущего дипломата доплыл до Канады. Но вернулся без золота и был рекрутирован на войну с японцами. После войны любознательный авантюрист женился. Народилось четверо сыновей и дочь. Первенец на свет явился летом девятого года. Подростком помогал отцу сплавать лес. Так и прижилось прозвище по отцу — Бурлаки. А отец всё рассказывал и сочинял байки о жизни за океаном, каждый раз приукрашивая.

Наслушавшись, старший сын уезжает в город, мечтая стать миллиардером-Рокфеллером. В техникуме он уже на старте карьеры: секретарь комсомола, в Минском экономическом институте — секретарь партячейки. В 1934-м — диссертация о сельском хозяйстве в США с переводом на английский. Дипломатом он стал случайно или нет? Выбирали из крестьян и рабочих, как Зорин, Малик, Добрынин.

Артистизм помогал демонстрировать интеллигентные манеры. Пробрался в любимцы Молотова, а затем Сталина. В конце тридцатых он командирован в США советником. Через четыре года становится послом, затем представителем ООН.

Далее разделение палестинских территорий и признание Израиля. Палестина была под Великобританией. США думали «заморозить» стихийное образование новых стран. Будто бы отставив мнение Сталина, дипломат из Советского Союза инициировал создание Израиля. В 1947 году

он изложил «план большинства». Так для евреев он стал национальным героем.

Карьера была на взлёте. Но вдруг остутился: в пятидесятом году, будучи первым замом главы МИДа, он завизировал соглашение с Китаем относительно курса юаня и рубля. Сталин был недоволен и перевёл дипломата послом в Лондон.

После смерти вождя МИД возглавил Молотов. И посла возвратили в Москву.

Внутреннюю жизнь дипломата мало кто знал, и даже жена и дети не могли бы написать на этот сюжет.

Личная жизнь у него шла за кулисами официальной. Сам он вспоминал ту встречу в театре. Когда он смотрел «Марию Стюарт», ему казалось, что его глаза, как у хамелеона, видят на триста шестьдесят градусов. Он позволил себе оглянуться только один раз, под предлогом, что сзади разговаривают и мешают. Евдокия ответила ему улыбкой и взглядом королевы. Вот она — настоящая Мария Стюарт, за его спиной, а не на сцене. Он мог бы сесть в ложе, зачем сел с гостями в партере, он себе не мог объяснить. Что с ним — глаза враскосяк — он себя не узнавал. А разве он не драматург своей жизни?

В его жизни было круче, чем у Шиллера: культ личности вождя, трибуналы, перевороты, заговорщики, неповторимые интриги. Он думал: «У меня две королевы: жена и другая, та, что сидит за спиной. Я — Лестер». Реплики актёров смешивались с его мыслями. Царственность не в том. Их низости не могут нас унижить. Я здесь привык ко всему. О милости великой, о свиданье, о встрече с ней прошу. Но суд людей неравных мне по званию? Мир перед нею наглухо закрыт стараньями недремлющих шпионов. Меня совсем не достигают вести. Какие противоречия всех эпох!

Прошло четыре года, роль Лестера и Марии в трагедии Шиллера дипломат знает наизусть. В пятьдесят седьмом году Хрущёв назначает его министром иностранных дел.

* * *

Оля перечитывала своё повествование, добавляя что-то новое.

В Центральном Доме литераторов в нижнем буфете, где она ела солянку на обед, всегда можно встретить кого-нибудь из небожителей, о ком думаешь. Это особое место для небожителей подвала.

Подсела критик и редактор журнала, она заказала солянку, рагу и бокал вина.

— Эффект полного погружения? Ты представляешь себя дочерью дипломата, чтобы написать роман? — Дама играла перстнями, насмешливо глядя на всех.

— Эффект проживания жизни? — удивлённо спросила Оля. — Мне один критик сказал, что я продолжаю традицию Вампилова.

— Суть в чём твоего сочинения?

— Моя мама — дочь дипломата. Моя мать прошла все круги ада здесь, на земле.

— Она могла сделать аборт.

— Не могла. В то время было запрещено.

— Делали же.

— Да. Она пришла к одной. А там всё залито кровью. И убежала в ужасе.

— Значит, ты — внучка дипломата? Хороший современный сюжет для Малахова. ДНК не делала?

19. Волнения

Мария вспомнила начало этой революции или народного бунта, беспощадного.

Ночь не для сна? Это было в слободке за десять лет до начала перестройки. Луна становится всё ярче, ночь темнее. Голоса в ночи звонкие, ясные, как луна. «Давай директора сюда!» — прогремело из гущи народа. «Кто велел выселять?!» — откликнулся кто-то. «Где директор?» — подхватили кругом. «Ордер! Ордер спросите!» — напирали сзади. «Ордер на выселение есть?» — Окружили плотнее машину у конторы. «Самовольничаете?!» — с хрипотцой гудел мужик. «Где начальник?» — Шевелилась в сером сумраке толпа, бросала в надвигающуюся ночь горячие слова. «Попрятались? Выходи!» Голоса сливались, смывали,

точно волны друг друга, дробились и, рождаясь в глубине, в гуще, вновь нарастали: «Хотели втихаря сделать? Не выйдет!»

Холодно светила далёкая луна. Рядом с «козлом» остановилась такая же машина. Гуще стало блюстителей порядка. Ждали: отроются, улетят, как пчёлы, угомонятся, стихнут, присмирят изморённые дневной работой люди.

Но вдруг живая стена качнулась, плотно охватила грузовик. Как будто почуяв непогоду, пчёлы не отроились, не улетели.

— Навались! — выдохнули разом. И пошли, как стоногое чудовище, и ринулись в темноту. Свободно и легко двигался грузовик по дороге.

— Давай, ребята! Давай!

— Поехали!

— Давай!

Луна высвечивала узловатые мужицкие руки на машине, сторбившиеся спины, крепко упирающиеся в асфальт ноги. Пошла, поехала, поползла... Живое ночное чудовище! Многорукая машина, как металлическое божество, пластала причудливую лунную тень. И толпа, заморожённая, двинулась следом. Мимо конторы, мимо общежития, вдоль пустыря и котлованов, с застывшими, словно птицы-великаны, экскаваторами. Подростки, будто это карнавал, мчались гурьбой, радостно повизгивая, забегали вперёд, спорили, куда покатают дальше.

Блеснул фарами трактор с прицепом, переезжая дорогу живой машине, прогрохотал и юркнул на дорогу в поле, смешав лунные тени.

— Поворачивай на коттедж директора! — донеслось сзади машины.

В начале восьмидесятых на улице в один ряд уже стояли двухэтажные коттеджи с мансардами и верандами, напоминая европейские сельские домики. Причудливые туи стояли в ночи точно в карауле, отчуждённо, настораживая непривычными очертаниями, не похожие ни на русские берёзы, ни на тонкие саженцы тополей. Машина подползла, отпали от бортов налитые силой узловатые руки. Кто-то вышел наружу.

— Выходи, Пантелеич! — крикнула зычно Тоська, забежала в палисадник, как в магазин.

— Пусть выйдет, поговорим! — кричали с улицы.

Над верандой зажгётся свет, размывая уродливую двойную тень от луны и фонаря. Дверь открылась, показалась испуганная жена директора в зелёном фланелевом халате, грузная, медлительная. Она растерянно

всматривалась и, видимо, не различала никого, будто совсем не узнавала их. Она привыкла, что ей всегда улыбаются на улице, её часами покорно дожидались в тесном коридорчике медпункта. Она вглядывалась в Тоську. А ведь ещё сегодня утром у них были совсем другие лица. Она знала про этих женщин всё: сколько раз рожала, сколько не рожала, чем болели дети этих матерей.

— Женщины! — крикнула, словно в родовых схватках. — Его дома нет.

Но те нырнули в дверь. Вспыхнул свет на обоих этажах. Охватили живой цепью металлическую оградку палисадника. Луна бессмысленно висела над освещённой улицей.

Тоська выскочила на крыльцо победительницей, упирая руки в крутые бока.

— От нас не спрячется! Найдём!

— Был же дома! — подзадоривали её из-за оградки. — Видали его!

— Сквозь землю провалился?! — выходили из палисадника. — Трус!

— Ничего, девки, от нас далеко не уйдёт. Посмотрите, может, под чьей юбкой спрятался? — хохотала Тоська.

Мария пошла домой. Сокращая, пересекла пустырь, свернула.

— Эй, кто идёт? — окликнули.

И вдруг возник страх перед этой чёрной ночью и яростной луной, нависшей над домами.

— Эй, кто тут? — повторили вопрос.

— Я... — проговорила молодая учительница.

Из тени вышла, сутулясь, запахиваясь в телогрейку, сторожиха.

— Тётя Катя?

— Ну, что там? — подошла та, мягко ступая войлочными домашними ботами. — Выселяют? Всякая лесть обнажается. Вот оно, началось! Потоп гнева народного...

— Выселяют!

— Гудели, аж тут слышно. Боюсь, в магазин влезут, — махнула сторожиха рукой на одноэтажный домик, ярко освещённый со всех сторон. — Бесы! Черти окаянные! Жить не дают простому народу! Нам завтра рано вставать на работу, а тут сиди. Влезут ещё сюда!

— Не влезут! Сейчас людям не до этого.

— Ишь ты, какая уверенная! Энти-то не влезут, а народ-то разный. Бросила бы сторожить, да дочь замуж вышла... За занавеской лежат... Чихнуть и то стесняемся, когда все дома. Красивыми-то не все были, а молодыми — все.

— Добрая вы. А я бегу — вдруг дочь без меня проснётся.

— А может, позвонить куда? Господи, помыслими добрыми душу мою просвети. У меня тут всяких телефонов много. На медпункте.

— Куда звонить хотите?

— Приедут с городу — разберутся! Что-то не верится мне, чтобы с двумя детьми так вот из дому ночью выбросили. Господи, помоги! — торопливо отмыкала она двери медпункта. — Ты грамотная, я сказать не сумею...

— Куда звонить-то, тётъ Катъ? Блюстители порядка тут. Да вот только «кому на Руси жить хорошо»? Как преодолеть это вековое рабство?

— Я знаю куда! У меня вот тут бумажка. Вот, смотри. Набирай!

Когда Мария вернулась домой, дочка спала. Молодая мать осторожно села около детской кровати и стала читать «Преступление и наказание». Достоевский был петрашевцем? Чего они хотели?

Вопросы не давали ей читать про каморку Раскольникова, волновали, будто там, на улице, а не в каморке Раскольникова, вершатся важные события века.

Она выглянула, в темноте опять вышла к народу.

Тени туи, казалось, ожили и двигались вместе с людьми, они то тянулись к палисаднику директора, то растекались по разные стороны улицы. От толщи живой людской стены отделилась горстка и стояла в стороне. На возвышающейся над проезжей частью дорожке тротуара увидела директора местной школы, молодых супругов-врачей, заведующую детским садом, семнадцатилетнюю библиотекаршу — племянницу директора, заведующую столовой, экономиста, участкового с женой...

— Вы действительно выселяете по закону? — подошла молодая учительница к участковому.

— А ты что, Мария, сомневаешься?! — встряла его жена.

И все на тротуаре смотрели на неё и глазами спрашивали то же. Почему она сомневалась, она бы сама себе не объяснила. Но чувствовала

какую-то волнующую её стихию, неиссякаемую и неизбежную, и старалась понять себя и эту силу.

Молодая учительница сошла с тротуара, вливаясь в гущу народа. У грузовика притулилась чёрная «Волга». Протиснулась. Постучала в стекло дверцы автомобиля, как стучат в дверь начальника. Приоткрыли.

— Мне нужно поговорить с юристом... Выйдите, пожалуйста, — поймала его взгляд и махнула рукой, предполагая, что её не слышат.

Юрист оглянулся к тем, кто сидел на втором сиденье. Задняя дверца открылась сильнее, девушка подвинулась ближе к плечистому лейтенанту. Молодая учительница села. Лейтенант, перегнувшись через девушек, сильнее хлопнул дверцей и закрыл на предохранитель.

— Скажите, у вас в самом деле есть документы на выселение? — смотрела в спину юриста.

— Да! — повернулся он. — А что? — нехорошим, липким взглядом присматривался тот к ней.

— Покажите.

Усмехнулся:

— Что показать?

— Ордер на выселение. Смех — это оружие. Над кем смеёшься?

— Ордер? — хмыкнул. — А ты хоть когда-нибудь в глаза-то его видела? — ударил на «ты», как пощёчину дал.

— Разберусь... — стерпела она.

— Лариса, — посмотрел на девушку, — покажите ей ордер!

Лейтенант открыл портфель, достал папку для бумаг, положил на колени Ларисы. Та взметнула руками и бросилась теревить листки бумаги...

— Ну что, Лариса, вы не взяли ордер? Может, в другой папке? Ищите! — нарочито грубил юрист.

— Не знаю! — не выдерживая игры, зло буркнула Лариса. — Кто вы? — толкнула плечом отчаянную маленькую женщину. — Вам-то что надо?

Мария придвинулась к дверце, взялась за ручку над стеклом, словно на крутом повороте:

— Правду хочу знать... — она хотела сказать: «А как же Достоевский? Петрашевцы? Революция?»

— Я судебный исполнитель! — перебила её другая женщина. — И нахожусь при исполнении служебных обязанностей! Вам это что-нибудь говорит?!

— У вас что, нет документов? И вы...

— Выйди из машины, если ничего не понимаешь! — повернулся юрист и открыл дверцу. — Выходи! Быстро!

Она невольно выскочила из «Волги», да так быстро, будто машина сейчас перевернётся...

Толпа давила, дышала в лицо, кричала... А она пятилась дальше от страшной машины: «Не знаю... Не знаю». И вдруг кольцо разомкнулось вокруг неё, все отхлынули. Кто-то крикнул: «Продалась директору!» И покатило: «Купили их за огурцы и капусту!» Как стадо разъярённое, тёмные тени окружили чёрную машину. Стучали в стекло. «Стрелять таких надо!» — тыкали пальцами. «Воры в законе!» — барабанили по металлической броне. «Предатели! Труссы!» Вопрошали: «Где совесть-то? Чем глаза залили?»

Вдруг открылась чёрная дверца, вылез полный, неуклюжий в светлом костюме юрист. Он выдвинул руку вперёд, словно раздвигая их. Стихли. Луна осветила искривлённое злобой лицо.

— Прекратите безобразие! — крикнул как выстрелил. — Завтра за всё ответите!

«Угрожаешь, гражданин начальник?! — отхлынули и опять сжались в огромный шевелящийся ком, словно охваченные бесовским наваждением. — Мы — завтра, а ты — сегодня! Сейчас! Здесь ответишь! — Обезумевшие мужики и бабы отчаянно прорывались к чёрной машине. — Круто берёшь, начальник! Народ солнце правды увидит! Осади! Мы что, рыбы безгласные?» Кто-то отчаянно работал локтями, кто-то сдерживал давку. «Продали квартирку-то! Кого вселить хотели ночью? Говори!»

Кого-то в сутолоке держали, не пропуская к юристу. «Знаем мы кого! — ревело сборище. — Наших баб на улицу, а своих по английским домикам?! Кто из ваших барынь в поле-то пашет? Твоя жена — пречистая светлость, а моя кто?»

Обруч сдавливался, все дышали криком, озлобляя друг друга: «Рука руку моет...» И вдруг громкий призыв, как разбойничий свист, как ниспадение бесов: «А ну, качай его, ребята!»

Юрист дёрнулся назад к машине, но его подхватило, словно потоком воды, сдавило, будто погружая в глубину. Близко, вплотную подошли бабы.

— Кого выселяешь, мерзавец?! У неё двое детей!

— У нас закон для всех одинаков! — прокурорски вещал юрист, маяча светлым пятном в толпе. — И для мужчин, и для женщин — равноправие!

— А что, ты, может, и рожать будешь, как баба?

— Что ж, может, и родит, бабоньки! — опять взвилась Тоська. — Посмотрите, живот-то, что у Клавки нашей с двойней! Эй, юрист! Здесь и сейчас прежде времени родишь? Девки, роды принимать есть кому?

— Примем! — как кобылицы заржали.

И Тоська похлопала юриста по круглому животу.

— Быдло! — прошипел юрист, резко оттолкнул женщину.

В его тело, точно пчелиные жала, впивались булавки, шпильки, «невидимки». Дёргаясь от боли, расталкивая всех, сквозь визг, вопли он прорвался к машине и укрывся за дверцей.

Холодная луна смотрела, как оторвалась чёрная «Волга» от земли, как качалась на скрюченных жилистых руках, беспомощно прокручивая колёса. Белый, холодный, неземной свет ложился на броню машины, покрывая точно амальгамой лакированную выпуклую поверхность, отражая лица толпы в смешных и страшных зеркалах.

Со стороны города прикатил грузовик, засветили фары, прокладывая две лунные дорожки. Подъехал «козёл», взрезал темноту, медленно приблизился к «Волге».

* * *

Рассвет смыл тёмные тени. Растаяла, словно льдинка, в синем небе луна. Посёлок наполнился шумом машин, тракторов, автобусов. Ребёнок ещё спал, и мать принесла воды из колонки, заняла в магазине очередь за молоком.

— Теперь им будут срок шить, — причитали бабы.

— Всех выпустят! — почему-то с уверенностью встала Мария и добавила, продолжая размышлять вслух: — Вещи же внесли назад в квартиру! Не выселили!

— Юрист кричал, что он этого так не оставит, — не верили.

— Говорит, что всех, кого надо, выселит, а наших посадит!
Очередь на мгновение притихла, словно примеряясь, верить или нет. И вдруг наперебой заговорили:

— Директор-то огородами убежал...

— Испугался — не вышел!

— Да хорошо, Петька с трактором подвернулся ему. Вывез.

— А кто рассказал? — Мария напряжённо наклонила голову вперёд, и теперь её худоба выглядела как неуклюжесть или болезненное перенапряжение.

— Да сам же!

— Помнишь, трактор-то проезжал, фарами блеснул, — толкнула её в плечо Тоська, будто будя.

— В кабине-то Петька один был, а директор — в прицепе...

Они галдели всё громче, нетерпеливее, перебивали друг друга и вдруг захохотали, утирая слёзы.

Мария смотрела на них и не понимала: ну и что? Уехал и уехал... Трус, значит!

— Да в прицепе-то, — захлёбывалась от смеха Тоська, — навоз был!
Вот бы знать тогда... Сама бы вытащила вонючего гада!

Неожиданно смех оборвался.

— Руки о таких тварей марать не хочу.

— Сам в дерьмо залез. Теперь не отмоешься!

Мария купила молока, хлеба и вышла из магазина.

20. Блокада Дома депутатов

Отчего один провинциал уверяет, что не любит Москву? Ну терпеть её просто не может, ну не нужна она ему. А другой провинциал из того же города рвётся и душой кипит, и жениться-то непременно на москвичке мечтает, а все остальные просто не те принцессы. А Москва — дама столичная, привередливая, гоняет ездовых по кольцевым дорогам, одних центростремительной силой притягивая, других центробежной силой выбрасывая, как капельки отработанные.

Борис Константинович лежал и думал об этом, заснул только под утро. Он жил в Москве уже почти месяц, а всё никак не мог привыкнуть.

И только открыл глаза, — злость опрокинулась на него, словно ушат ледяной воды, — проспал! Он не мог простить, что позволил себе в такое время почивать. Принял контрастный душ: холодная — горячая — холодная... Поел поплотнее, как деревенский мужик, которому быть в поле весь день. В девять часов тридцать минут вышел на улицы столицы. Осенняя свежесть здесь не та, что в Клёповке. Что ты! Разве сравнишь! Уже осень, и листья, отмирая, покрывались багрянцем, трава же на газонах, как искусственная, не вяла и не желтела. Интересно, вот бывает же тюльпан один на миллион, белый среди красных.

Пошёл туда, куда стекался народ, у кого болела душа за судьбу Родины.

Полностью блокирован вход людей в Белый дом. Закрыт въезд транспорта. Подвоз продовольствия прекращён. Теперь он не мог оставаться наблюдателем, нужно было действовать.

— Кто дал распоряжение всё это проводить? — полковник не верил в серьёзность этой схватки.

— Послушайте, — заговорил с ним московский интеллигент в шляпе и с чёрным кожаным дипломатом. — Я честный советский человек, я профессор...

— Что здесь происходит? — вникал Борис Константинович.

— Вся эта политическая игра мне не только не нравится, а даже неинтересна. Я профессор, привык к кабинетной работе.

— Тогда почему вы здесь? — заводился от общей напряжённости Борис Константинович.

— А вы? — профессор сделал попытку войти в диалог. — Простите, какое сегодня число?

— Я полковник! — Борис Константинович вскрикнул, словно солдат во время переклички на учебном смотре. Простота людей, какая-то их обыденность, те же по сути люди, что в его небольшом городе. — Интеллигенция швырковая! Всё у них врастопыр! Захомутались! Двадцать восьмого сентября вся страна на уборочной, а вы чем тут занимаетесь? Опять партийные игры устроили, как в двадцатые годы?

— Всякая злоба отчуждает человека.

Полковник оглянулся на эти слова. Перед ним маленький, сухонький старичок, таких ветхих и в Клёповке не сыщешь. Бомж? Юродивый?

— Буря недоумения смущает ум человека, — говорил сухонький старик. — Лесть бесовская блудным наваждением искушает души. Человек слаб, а слово воплощено.

Старичок, глядя на всё прищуренными добрыми глазами, прошёл дальше.

— Я ни к какой партии не принадлежу! И ни в Магомета, ни в Будду, ни в Иисуса не верю. — Интеллигент двумя пальцами потирал переносицу. — Одна дама зашла в книжную лавку: «Я хотела бы купить книгу... — Какого содержания? — Для больного. — Так, может, Библию? — Он болен не до такой степени». — Интеллигент с чёрным дипломатом снял очки.

— Тухлость вся в пузырях на поверхности! — Борис Константинович чувствовал, что он должен что-то делать и от того, что он ещё сам не знал что, от этого только больше поддавался волне возмущения. Сознание, что всё-таки он в столице, действовало как-то особенно. — Я жизнь прожил день за два!

— Начальник, не кричи, — повернулся к ним высокий подвыпивший парень в старой форме, которую носили солдаты в Афганистане. — Хватит, откомандовались!

Полковник афганцу отвечать не стал. «Година искушений». Отошёл ближе к балкончику Белого дома. Там сооружали что-то, пытались прикрепить флаг, но он качнулся, его подхватили и опять стали укреплять, потом кто-то достал носовой платок и лёгкое древко подвязали для прочности.

Полковнику было всё это весьма странно наблюдать, просто не верилось — какая-то виртуальная реальность, а не Москва... Отключены все виды связи в здании Верховного Совета. Неделью депутаты провели в блокаде. С двадцать третьего отключено всё: свет, тепло, вода.

— Вчера правительство Москвы предъявило ультиматум — до четвёртого октября всем покинуть Дом Советов, в противном случае — «тяжёлые последствия».

— Кто сказал? — обернулся на голос Борис Константинович.

— Я передаю то, что слышал. — Мужчина в кожаной куртке широко расставил ноги, словно матрос на палубе. И, слегка приподняв голову, повернулся к даме в белом плаще. — Шестьдесят восемь субъектов Федерации поддержали парламент и предъявили ультиматум

с требованием одновременных перевыборов. — И хотя человек говорил беспристрастно, как обозреватель теленовостей, этот голос притягивал внимание больше, чем страстные призывы митингующих. — Решающее заседание Совета Федерации назначено на четвёртое октября.

Борис Константинович почувствовал неловкость, что вслушивается в разговор, но вдруг пришла другая мысль, что все, кто сюда пришёл, не чужие. Всех волнует что-то одно, что-то общее. Правые и левые, коммунисты и демократы — все здесь объединены болью за Родину. Те, в ком нет этого чувства, на Баррикадную не явились.

— Государственный деятель высказался против идеи досрочных одновременных перевыборов, — продолжал спокойный человек в чёрной куртке. — Черномырдин тоже ответил на требование отказом и заявил, что у них есть другое решение.

У полковника мелькнула мысль, что всем известны и ход, и развязка действия, только он, как провинциал, не ознакомлен с этим сценарием. Ему это было неприятно, обидно, и начала вызревать злость, будто его дурачат.

21. Мария возвращается

Мария уезжала из тревожной беспокойной столицы. Каждая строчка газет, казалось, увеличивала эту тревогу, будоражила в людях отболевшее. Москва уже перестала казаться ей праздничной: не привлекали ни выставки, ни театры, ни зажигательные кафе, ни золотые осенние кольца бульваров.

Родной город встретил Марию суетой вокзала, которая напомнила непрерывный гул столицы. Но она увидела его как бы заново, словно не родилась здесь и не прожила большую часть жизни. Со стороны путей остеклённая арка скрывала людей, точно в аквариуме.

Мария вошла. Сдавленный, тяжёлый воздух на несколько минут вернул ощущение поезда. В сторону площади вокзал повернулся подковообразным фасадом. Суета, будто все опаздывают. Дачники-огородники тащили за собой по серому асфальтовому перрону сумки, кто на колёсиках, а кто наперевес, мужики, по-осетински прямя спину,

несли вёдра с розовощёкими помидорами, здесь у русских личного транспорта явно было меньше, чем у потомков.

Приземистый вокзал, построенный по проекту армянского архитектора, состоявшего членом КПСС с 1917 года, смотрелся нелепо после долгих степных полей. Этому сооружению явно требовались горы, скалы, водопады — тогда его тихая приземистость умиротворяла бы, вносила гармонию. Теперь же, чтобы придать ему хотя бы видимость высотного здания, над карнизом соорудили скульптуры, которые то снимались, то вновь водружались на прежнее место.

Мария с непонятной тоской, словно зима уже повеяла холодом, шла по привокзальной улице и не чувствовала, что вернулась в родной любимый город: всё в ней было приглушённо, безрадостно — дома казались нежилыми, деревья озябшими, прохожие просто мелькали, а не жили в городе. Сколько раз Андрей Платонов приезжал и уезжал из этого города навсегда? Воронеж — Москва — Воронеж... Город Градов... «И небо скрылось, свившись как свиток». Счастливая Москва... Есть города, которые выталкивают и удерживают с одинаковым напряжением.

В провинции лица одинаковые, казалось Марии. Москва даёт такие разнообразные варианты человеческой породы! Человека это разнообразие возбуждает? В маленьких городах не только лица, но и мысли, кажется, у всех одинаковые. А тут ещё реку, протекающую через город, перекрыли плотиной, и город тоже как бы замер, выжидая, что будет. Река затыгивалась водорослями, мутнела, к концу лета воздух рядом с ней стал тяжёлым и неприятным. Каждый день половина жителей города ездила туда и обратно, пересекала длинный мост на скорости не больше тридцати километров в час и безучастно наблюдала, как темнеет, затыгиваясь водорослями, непроточная вода реки.

Мария невольно вглядывалась в лица, и почти все отвечали ей каким-то новым взглядом: черноволосые мужчины с пышными усами на квадратных лицах, они цепляли цыганистым оценивающим уголком глаза. В Воронеже два типа женских лиц: одни полные, лунообразные, круглые, с выступающими вперёд щеками — в них есть что-то монголоидное, древнее; а другие — с русыми волосами и рязанской голубизной в глазах.

Волна солёной слёзной тоски накатывала, и Мария ускорила шаг, подчиняя себя деловому ритму.

Встреча эта на мгновение, пока он был рядом, окрасила всё в тёплые оттенки юности.

* * *

Ночью Марии снилась ослепительная солнечная метель. И мальчик девяти лет поколачивал трёхгодовалую девочку, приучая подавать ему чай и кланяться. Сон стал калейдоскопом странных картинок. «Тебе немножко нравится играть со мной, а мне с тобой». И шло высвечивание или угасание чувств, они, отработав своё, перевоплощались в слова и мысли. Одиночество отнимает жизнь чувственную, но вознаграждает миром образов и мыслей. Надо заставить себя думать, а не чувствовать. И всё-таки какая холодная, безмолвная ночь одиночества! Мыслями управлять легче, чем чувствами; эмоции, как волны в океане, — захлестывают. Люди чаще тонут от страха, а не от усталости. Мысль управляема, эта посудинка снабжена бывает не только парусами, но и вёслами про запас. Куда-нибудь да выгребешь: гребни — не обращай внимания на усталость.

«Я люблю тебя, ты не понимаешь этого», — повторял он словно в бреду.

Она не понимала, как можно любить — и не желать ребёнка от любимой женщины!

А потом она видела во сне белую сирень, первый поцелуй. Будто бы он открыл окно в заросли сирени и к нему влетел голубь. Он разговаривал с голубем, как с её душой.

Сновидения долго мучили и не отпускали. Она проснулась поздно. Какой прозрачный осенний день! Как ярко: ярче, чем весной, светит остывающее солнце.

Мария ждала, когда созреет решимость пойти к врачу. Ночной сон теперь не приносил отдыха, а только отнимал силы, которые удавалось накопить днём. Она попробовала найти работу, но поняла, что в таком случае навсегда останется здесь, и через неделю прекратила поиски. Наконец пришла в женскую консультацию.

— Вы считаете себя беременной? — внимательно посмотрела на неё врач. — Раздевайтесь.

Теперь всё катилось, как снежный ком с горы, разрушая одушевлённый храм волнами страстей и смятения. Белизна радости перемешивалась

с ранившим душу серым песком горечи от ошибки в любви. Всё было в бесформенном виде, и от этого становилось ещё невыносимее на душе.

Женский монастырь. Красивые монахини в чёрных одеяниях. Она перекинула шарфик с плеч на голову и вошла в обитель. Вот очередь ожидающих исповеди как оставления грехов. У Марии не осталось сил бороться с собой, нужно было кому-то поведать о своей боли. Всем ли дано обновить свою душу покаянием? То страх окутывал её, то радость, ощущение беременности то усиливалось, то гасло совсем, нить надежды обрывалась, и всё погружалось в отчаяние и страх одиночества. Но сильнее всего в этом хаосе звучало беспокойство о дочери, она боялась её глаз.

Родить без мужа Мария решила бы и выдержала бы все мнимые и реальные упрёки, но не вынесла бы одного — непонимания дочери. Рождением этого ребёнка, она думала, оттолкнёт дочь, бросит её в бездну смятения, заронит в душу непонимание жизни, неверие людям. К исповеди она не была готова, поэтому, когда увидела, что людей вокруг батюшки всё больше и больше, отошла, боясь, что она кого-то опередит и времени не хватит для всех. Это как батюшка выходит: «Христос Воскрес!» И ты летишь. Нет ни толпы, ни стен, и ты как бестелесная. Как это было с нею однажды в Санкт-Петербурге, там, где похоронено сердце Кутузова. Величественный купол Казанского собора. И вдруг, выйдя из церкви, она ясно почувствовала, что не сможет сделать аборт, как бы ни складывались против неё обстоятельства.

В понедельник пришла на вокзал и купила билет на вечерний поезд. Положила в чемодан тёплые вещи — в Москве осень начинается раньше.

Узкий коридор купейного вагона, дверь с зеркалом изнутри, радостный перестук колёс.

Утром, когда за окном мелькали пригородные станции Подмосковья, — ликующее чувство, будто она не в конце пути, а в начале.

Мария решила, надо сделать УЗИ ещё раз. Кто просветит чувства? Бывают ошибки, и врачи ошибаются.

Первая волна в этой любви — стеснительность, последняя — власть.

«Я не хочу оставаться одна. Когда я остаюсь одна, я плохо о тебе думаю». — «Значит, ты меня не любишь». — Играет в любви тот, кто чувствует, что если он перестанет играть, то сразу станет неинтересен.

Может быть, и не хотелось ему вовсе играть. Если он по натуре азартен, это может продолжаться долго, если игра — напряжение, то действие быстро заканчивается и опускается занавес.

«Чем он удержал меня? Возможно, мы жизнь перепутали с игрой? И потом будем жалеть о том, что всё это было?» Мужчины как будто нарочно подвергают бессмысленно жестоким испытаниям тех женщин, которых любят. «Тебе нужна формальность? — говорит он ей. — Значит, ты меня не любишь!» И уходит на какое-то время. И возвращается, когда она от отчаяния уже теряет надежду. И он опять страстно и нежно любим. А потом выдумает невыдуманную историю о невозможности земной любви. «Я рассказывал тебе... Я люблю одну женщину. Она погибла». И здесь нет ошибки для корректора. Время глагола выбрано правильно. Именно в этой ошибке времени «люблю — любил» и заключается весь пафос любви живой женщины к мужчине, который продолжает любить мёртвую. Это уже стопроцентный успех, она будет метаться в его мёртвых сетях любви до конца. До последнего шага бороться за его душу.

Мёртвых можно помнить, но нельзя любить. Любовь — это живое чувство, и настоящая женщина непременно начнёт оживлять, рожать, создавать, выращивать. Тут сработают все инстинкты, страшной тайне послужившие. Надежда ненадёжных. Какое вам тут рассуждение о подсознательном? А уж лукавый разум таких поднесёт сюжетов, что и романисту не угнаться.

Мария стала думать о матери, об отце. Модное веяние ДНК коснулось и её. Неужели правда, что она дочь дипломата, а все мытарства и странствия в нищете и бездомности — нелепая случайность?

22. Небожители подвала

В МИДе Российской Федерации прошло заметное событие: дипломаты накануне своего профессионального праздника — Дня дипломатического работника.

Оля писала статью для газеты, побывав на празднике.

Главное, подготовили подарок коллегам и российским читателям. Вышел в свет поэтический сборник «Моя Смоленка». Молодая журналистка была взволнована, впервые ей поручили брать интервью

у дипломатов. Ей казалось, что это люди особого ранга, небожители. Дипломаты со Смоленки вызывали, будили в ней генетическую память, страсть, хотелось стать рядом с ними, быть такой же. Отец? Отче? Лучше был бы он простым инженером, но с ней. Она терзалась любопытством и при этом грустила, словно её обманули, но всё искала, что дало бы ответы на вопросы в её судьбе.

Иногда, чтобы окружить себя творческой атмосферой, девушка приходила в нижний буфет ЦДЛ с ноутбуком и работала.

Этот кафешный уголок писатели называли подвалом, а себя — небожителями.

Вот написала первый абзац и ждала волны вдохновения, которая поднимет над бытом и перенесёт её в другую реальность. Но время было ограничено. И пришлось писать рутинно, по шаблону. Потом она переработает, как ей хочется, а сейчас это заметка для газеты.

Когда Оля брала интервью у небожителей подвала, она держалась просто, ей было легко, словно она выросла среди них и была дочерью дипломата. А сейчас перед белым экраном она растерялась. Хотелось прочесть свои наброски вслух или дать кому-то. Но кому? Виктору Пронину? Вот он сидит маленький, как семиклассник, в кепочке с красным лоскутком. Или Владимиру Личутину? Он солянку с оливками и сметаной ложкой хлебает. Она села к Пронину, положила перед ним не заметку о дипломатах, а свои короткие рассказы в распечатке.

— Почитаете?

Он молча придвинул один рассказ, прочитал одну страницу, другую... пятую.

Она ждала. Потом потянулась за рукописью. Но он властно, по-мужски сгрёб остальные и засунул в свой портфель. И, поправляя кепочку с красным лоскутком, посмотрел на неё с улыбочкой.

— Прочитаю дома.

— Спасибо.

Вот и волну поймала. Ей захотелось писать об этих странных людях — писателях, архитекторах, дипработниках, старой советской интеллигенции.

Вернулась за свой столик, где стыли остатки солянки с белыми, как облака, ошмётками сметаны. И начала печатать. «С выходом книги пришли поздравить дипломатов председатель Союза писателей России

Валерий Ганичев, председатель Союза писателей Москвы Владимир Гусев, главный редактор “Исторической газеты” Анатолий Парпара и другие. Поэтический сборник “Моя Смоленка” выпущен издательством “Фонд им. М. Ю. Лермонтова”. Над книгой работали редакторы Гвенцадзе, Казимиров, Кувакин, Масалов. Масалов, презентуя новую книгу, в которой публиковался и сам, рассказал о коллегах — авторах коллективного сборника. Издание является результатом многолетней работы мидовского литературного объединения “Отдушина”. Сегодняшние авторы — это заслуженные люди, о каждом из них можно написать. Олег Озеров — заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки, пять лет работал в Тунисе, пять лет — во Франции. Борис Курочкин — член Союза писателей России — профессии дипкурьера отдал двадцать три года. Александр Бессмертных — президент Международной внешнеполитической ассоциации — работает над большой книгой, в которой хочет провести читателя дипломатическими тропами. Юрий Алимов первым задумал выпускать сборники стихов. Владимир Казимиров был послом Советского Союза и России. Работал в Европе, специалист по Латинской Америке. Гвенцадзе — бывший посол в Ирландии, пишет, переводит на французский, английский».

Для Сергея Лаврова этот день был особенно праздничным: министр иностранных дел Российской Федерации получил билет члена Союза писателей России. Родился в 1950-м. Фамилия по маме. Мама из Ногинска, а у папы кровь армянская. Родители из торгового представительства. Для большой литературы это всё равно что дилетантизм и интеллектуальное убожество, казалось молодой высокомерной девушке.

Евгений Примаков сменил Андрея Козырева в США. Издал книгу «Встречи на перекрёстках». Бабушка владела ивритом. Пишет стихи. Оля была в его резиденции ИППО. Он показался ей тяжёл в общении: ни слова в сторону от официоза и регламента. Может, это часть профессии? А как же свободное слово поэзии? Оля брала у Примакова интервью, которое так и не опубликовали, вероятно, особый статус был необходим. Она увидела этого человека с другой стороны, о которой писать не хотелось, поэтому она не очень расстроилась, что не пошло в номер.

В нижний буфет ЦДЛ вошёл Пётр Стегний, хотя вип-сотрудники обычно не спускались сюда, где собирались небожители подвала, а шли

прямо по фойе в ресторан. Она радостно кивнула, вспоминая визит к нему домой.

Оля прочитала книгу «Жизнь и судьба Игумена Серафима (Кузнецова)» и восхищалась лаконичностью, дипломатичностью стиля. Была на презентации в музее Марфо-Мариинской обители.

Пётр Стегний свою книгу писал, работая в Израиле, в перерывах между протоколами, переговорами, урегулированиями. Но даже талант у дипломата под контролем — рождается дипломатическая проза. И всё же интересно, не сухо, не занудно. А это главное, как казалось девушке. Он, общаясь с церковными служителями, уже стал вхож в алтарь.

23. В общежитии Литинститута

Как только Оля стала студенткой Литературного института, Вадим Николаевич принялся уделять ей столько заботливого внимания, словно пытался заменить ей и отца, и всех мужчин на свете. Убегая то ли от этой всепоглощающей опеки, то ли от особой атмосферы, которая была в доме тёти Киры, Оля с большой радостью перешла в общежитие.

Жизнь превращается в общую, если перебираешься в общежитие. Здесь все про всех всё знают. Общежитие — дом родной. Ошеломляющая открытость. Родство без родства. Пока идёшь с полотенцем и зубной щёткой в комнату для умывания, можешь встретиться с кем угодно. Если ты забыла на кухне чайник — нет проблем — всегда найдётся кому выключить. Жизнь в общежитии, как жизнь в поезде, только не стучат колёса. Для кого дорога — праздник, для того и общежитие — дорога. Олиной соседкой оказалась девушка из Японии Хаинь, высокая и интересная.

Хаинь вошла к Оле возбуждённая.

— Что это? — Хаинь подошла к окну, открыла створку.

Холод ворвался в комнату из осенней столичной ночи. И вдруг Оля увидела светящийся луч, как от праздничной ракетницы, и услышала гул. Она не обращала внимания на эти приглушённые звуки, пока не зашла японка.

— Салют?! — радостно произнесла Оля. — Сегодня, наверное, какой-то праздник?

— Салют? — воспроизвела Хаинь звучание нового русского слова, ничего для неё пока не значащего, но в голосе осталось напряжение.

— Извини, я там... Моя комната есть словарь...

— Салют — это праздник! — радовалась Оля.

— Праздник? — Хаинь широко улыбнулась, показывая ровные удивительно белые зубы. — Какой сегодня праздник?

— Не знаю, в Москве много праздников.

— Как много салют! — японская гостья смотрела, как вспыхивает московское небо.

Что за шаги в коридоре, голоса, крик, кто-то пробежал, хлопнул дверью? Оля вышла. Повсюду хлопали двери, и, казалось, все заняты тем, что перебегают из одной комнаты в другую, как бывает в канун Нового года.

Пронеслась по затемнённом коридору Альбина Щукина и вскрикнула пронзительно:

— Война!

Хаинь замерла в проёме между коридором и комнатой.

— Где война? — уловила она смысл брошенного слова.

— Везде война, Хаинь! — кружила Альбина, словно запутавшись в собственных волосах, и было в этом безумное торжество новоявленной пророчицы. — Война!..

— Ах! — Хаинь произнесла что-то по-японски, глаза её большие и тёмные сверкали испугом и отчаянием, в них будто мелькнул взрыв атомной бомбы. — Ах! Моя мама! Война!

Оля вернулась в свою комнату, словно в укрытие. «Салют» на чёрном московском небе становился более зловеще-торжествующим. Она включила радио. Японка смотрела на неё, сейчас для иностранки всё зависело от того, что скажет эта русская девушка, а не российское радио. В страшном напряжении русской речи по радио она не могла уловить почти ни слова, кроме «Россия», «россияне», «в Москве»... Из этих слов можно было выдумать какую угодно историю.

— Нет, Хаинь, война не везде, война только в Москве.

— Почему Москва — война? Кто на Москву?

— Маленькая война, — Оле было грустно объяснять это и стыдно.

— Только тут, больше нигде. Это телевышка! Война. Там стреляют.

— Что там? Почему ТВ стреляет?

— Надо слушать радио.

Молодая японка смотрела то на висящее на стене радио, то в глаза Оли. Иностранка пыталась понять, насколько теперь опасно в Москве.

Всю ночь радио выбивало непонятную словесную дробь. Уроженка Пекина Хаинь всю жизнь прожила в Токио и теперь боялась идти в свою комнату. Но, когда стало светать, решила вернуться в своё не очень-то уютное жильё. Когда она ехала в Москву, представляла себе здесь жизнь другой: интересной, красивой, праздничной. Хаинь много рассказывала своим ученикам о Москве. А когда, подавив страх, она заснула, ей опять стала сниться прекрасная Москва: в её снах всегда побеждала девичья сказка.

Сказку прервал грубый стук в дверь.

— Ваш паспорт! Удостоверение!

Первое предложение Хаинь поняла, но второе насторожило.

— Я не русская. Я из Японии.

— Иностранка? — омонцовцу было не до сентиментальностей гостеприимства, главное, чтобы фотография в паспорте и живое лицо совпадали. И прописка была на месте. — Окей! — выразил он своё согласие и вернул паспорт.

Тех, у кого были не все документы, они уводили. Полчаса шмонали на третьем этаже — один шкет кинулся драться, пришлось поставить на четвереньки, таких семиэтажек нужно было обойти шесть, а они тут застряли. Студенты... Они, видите ли, не привыкли вставать рано. А ОМОНу спать не хочется: роботов по очистке улиц от грязи и бандитов пока нет.

Японка, словно прониклась пониманием трудностей работы русской полиции: в её глазах было желание быстро выполнить их любое требование, чтобы не задерживать и тем помочь им, а может быть, и себе. Такое участливое внимание было для омонцовца необычным и как будто придавало уверенности и силы.

Японка опять подошла к окну, «салют» всё продолжался.

Оля с друзьями вышла на улицу. Костёр вспыхивает и стреляет мелкими звёздочками в темноту. Искры касаются грубых ботинок, рабочих курток, ватников, но никто не обращает на это внимания. Утро уже близко, и холод достаёт сильнее, и всё чаще подбрасывают в огонь обломки досок, кладут ближе сырые ветки деревьев, чтобы

подсыхали и потом не дымили. Вот стали высвечиваться слегка, как тени, обрезки труб, вывороченные булыжники брусчатки, стальные прутья, придерживающие до этого ковровые дорожки в «Белом доме», бутылки... Полковник убрал бинокль от глаз. Он видел всё это уже несколько дней, и теперь ни бинокль, ни свет ему не были нужны. Бутылки эти ходили по рукам вчера. Водкой согревались. Во многие бутылки заливали потом воду, а говорили, что бензин. Эту идею подал генерал, надеясь отпугнуть танки. Танки...

Борис Константинович не верил в танки. Да и кому нужны подвиги Матросовых, Корчагиных? Забава для детей среднего школьного возраста? Старые игры с новыми названиями... В эту ночь ему отдохнуть не удалось, хотя всегда перед полётом, в любой ситуации, он умел заставить себя уснуть на три с половиной часа. Время. Оно то летит, то ползёт медленно, тягуче. Перед серьёзным делом всегда нужен хороший отдых. Борис Константинович расстелил газету, положил под голову чей-то дипломат и лёг. Но шея быстро затекла, он вернул дипломат на прежнее место. «Вот, оставил отпечатки пальцев, — чиркнуло в мыслях. — Что здесь будет после нас: завтра, послезавтра?.. Нет... Не уснуть. Вот слышно, как что-то щёлкает, словно разрываются почки на тополях... Тихо-тихо падают, как мелкий стеклянный дождь. Что это я? Куда попал?

— Баба Дуся, бывает на земле стеклянный дождь?

— Как же, сынок, это всё в Писании сказано. И придёт Страшный суд... А дед мой опять ко мне приходил. Вот... Холодно, говорит, мне одному лежать, в земле-то. «За мной, значит, сам пришёл?» — спрашиваю. — «Нет. Я тебя к себе не зову. Я пришёл тут на тебя посмотреть. А ты мне сама пошли туда кого-нибудь, чтоб не одному». — «Кого же тебе, дед, надо?» — «Ты сама реши, я военный человек». — «Дед, а дед, что ж ты меня заставляешь брать на себя такую ношу?» — «Ты только укажи мне, кто из вас тут позначительнее, поважнее, чтоб все слушали. Чтоб войны не было, а миром решить, чтоб народно говорил. Верно». — «Дед, да кого ж послать? Я ж никак не соображу... Может, сбегаю бабку Таню спрошу?» — «Только не говори, что я здесь, а то заболтаешься, забудешь, что я умер, а мне нельзя, чтоб меня видели, а то опять на Страшный суд поведут». — «А ты уж там был?» — «А как же, все были...» — «И что?» — «Человек ты военный, вот такой был мне сказ, лежи, говорят мне,

теперь и отдыхай, не будем тебя тревожить, только одно задание тебе дадим». — «Это вот что ты ко мне пришёл?» — «Нет, к тебе я у старшего отпросился. А вот я должен им человека указать, чтобы он был значительный, важный, а главное, говорят, чтоб не врал, они это враньё там очень как не любят. Приведи, а иначе, говорят, не пустим. Ты только недолго». Побёгла я, одна нога там, перевернулась в дверь туда-сюда... Вот и пришла, вишь, — показала на себя рукой баба Дуся, — другая нога уже тут.

А рядом с ней сам Борис Константинович, как в зеркале.

— Это самый значительный, — утверждает баба Дуся. — Важнее у нас в деревне нету. Сон греховный тяготит сердце моё. Где оно — божественное бесстрашие? Страх чистейший Божий даждь мне... Все мы в беззакониях зачаты, во гресях рождены. Дед, дед... Дед! Да где же ты? Дед, да был ли ты тут? Дед... Да кто там стучит? Кто стучит?! А, это вы, Борис Константинович? А я думала, что дед мой вернулся. Проходите, ложитесь...

Полковник хотел лечь поудобнее, повернулся и вдруг ясно услышал всё. Стреляют! Вскочил.

Вот оно! Пошло... Время? А... шесть сорок три! В шесть ноль ноль атака не началась. Почему? Где Руцкой? Почему их не слышно? Не мог же я проспять их распоряжения? Стреляют, стреляют... Со стороны Краснопресненской набережной расстрел баррикадников? Но у них же только палки да камни! Не-е-ет, это не фашизм, это... Государственный деятель? Кто дал такой приказ? Связи, связи нет. Что там происходило? Кому нужна наша кровь? Это не путч, это не гражданская война. Теперь, Александр Владимирович, посадку вам не дадут. Лететь будем! По кабинетам депутатов огонь? Решились? Что? Огонь на упреждение в обрез? Всё, мой дальновидящий дружок, лезь, прячься в футляр, работа пока твоя не нужна, теперь нужно смотреть, что ближе, а что дальше — увидим.

— Огонь не открывать! — наконец-то заговорил Руцкой.

Но почему не было предварительных предупреждений? Не предложено условий? Это не Афган, мы все говорим на русском языке.

— Огонь ни в коем случае не открывать!

Проснулся и главнокомандующий, очухался от димедрола... Обезболивающее! Почему-то у полковника именно это сейчас вызвало

раздражение. Война под димедролом... Семь часов сна он, конечно, обеспечил себе, но кто бы его выпустил в полёт после такого сна, если он не мог сам себя заставить заснуть, сидел бы у бабы под юбкой.

— Снаряжаемся? — заскочил баркашовец, в руках у него два автомата. Один подал полковнику. — Это для вас.

— Был приказ не стрелять.

— В нас стреляют! Берёшь? — смотрел он в глаза с таким напором, что нелегко было выдержать. — Смотри! — вспыхнула обречённая решимость. — Отдам другому?

— Я не смогу убивать своих.

— Тогда — милому гостю домой пора.

Полковник в суматохе, в почти охотничьем азарте потянулся за автоматом. Но приклад показался ему слишком тяжёл. И старое чувство шевельнулось в нём, словно взял в долг очень большую сумму, которую не сможет вернуть. Он не любил занимать, самое сильное чувство неуважения к себе испытывал именно в такие моменты — возникало ощущение своей немощности. Это было редко. Сейчас Борис Константинович чувствовал, как нарастает это ощущение и подавляет его бурными помыслами.

— А ты не убивай, ты защищай. Мы защитники, а не наёмные убийцы — те, что там! Здесь работает парламент, здесь депутаты, которых избрал народ! Я даю тебе автомат в память о погибших в Афгане.

— Хватит митингов. Оставь.

Он положил на примятые газетные листы тяжёлые обоймы с патронами рядом, ударившись стволом об пол.

В бинокль полковник опять разглядел всю декорацию баррикад. Что за скоморохи соорудили это? Тоже строители — смотрите, ещё возводят ковчежец, позлащённый духом... И в бинокль все люди показались детьми рядом с ползущими на них БТРами. Раз, два, три... Выскочат справа. Баррикадники их ещё не видят. Вот... Сейчас... Стреляют. Остановились. Высадка. Прячутся за домики автопредприятия. Укрытие?

Расстрел Белого дома... На смену Великому инквизитору пришёл Великий режиссёр. Толпой управляют, как зрителями в затемнённом театральном зале. Кому не нравится сценарий, не нужно было приходиться и брать билет. Театр военных действий продолжается.

Он пробежал метров двести до бункера. В спортзале — человек семьсот, как в бомбоубежище, пережидали ночь. Эта скученность, стадность гасила в них чувство тревоги, и они смотрели свои сны, как дети. И кровь, как самый тяжкий грех, заставит сделать выбор между добром и злом, и познание этого добра и зла станет смыслом их жизни, и они уже захотят знания о жизни, не счастливого невинного детского забвения, а всей правды. Он сам не прошёл Афган, но похоронил сына и знал, какой ценой даётся это прозрение, это познание истины и правды. Вот так же спал и его сын там, в Афгане, и так же открывали огонь. Теперь ему нужно разбудить этих счастливо спящих людей. Защитников Отечества... Он поэт, а все поэты — дети.

— Вставай, страна огромная, — запел он громким голосом, как на эстраде. — Вставай на смертный бой...

Но вдруг вошли то ли макашовцы, то ли ещё кто в форме макашовцев. Вот за такую же шутку он уже заплатил сыном-первенцем. Рванулся опять в коридор.

На улицу вышли и Оля с Ильёй. Илья Байкалов считал себя человеком с писательским опытом, у него издано две книги. Его молодость воспринималась в салоне Киры как-то особенно, возможно, потому, что он невольно держался на равных с Вадимом Николаевичем. Это врождённое чувство равнозначности старшим как-то никого не задевало, словно его жизненный опыт накапливался ещё до рождения. Быть может, только рядом с Иваном Петровичем Корневым он казался моложе, как бы входил в свой возраст, словно этот старик тоже носил в себе опыт былых поколений. Илья вхож в дом. С ним Сашу везде отпускали, он любил ей болтать о своих литературных стремлениях, ему было легко с этой своенравной девчонкой, говоря с ней, он как бы говорил сам с собой, будто с кошечкой или с собачкой. Сашенька платила ему тем же, но её детская привязанность была несколько сильнее, хотя она этого и не показывала, и не осознавала, пока не появилась Оля.

Илья влюбился, не замечая, что стал её тенью.

— Где ты вчера был, когда стреляли? — смотрела на него Оля.

— Там.

— У телестудии? Ты там был? Расскажи... Пойдём туда.

— Не надо... — охлаждал Илья её порыв.

— Ты не пойдёшь со мной?

— Я говорю о тебе. Тебе не надо туда ходить... Зачем?

— Не знаю, зачем, но знаю, что пойду.

Они шли довольно быстро, но взметнувшаяся над крышами стрела Останкинской телевышки, казалось, не приближалась, а зависла, как мираж. Двинулись напрямую, миновали полотно железной дороги. И теперь оказались в потоке людей, идущих так же нетерпеливо-решительно. Следы пожара, стрельбы и крови. Застывший в красном сгустке мужской носовой платок, красные отпечатки подошв... Что за неудобовосходимые человеческие помыслы? Что за маляр, печальный и утруждённый, поработал здесь? Во что опускал он свою кисть, в какой растворитель, что выкрасилось это всё в подобный цвет? Мелкие стёкла хрустят... Троллейбусы искорёженные, с глубокими вмятинами. Расплющенный кузов машины. Но вот оцепили БТРы и военные грузовики и любопытных пешеходов заставили отдалиться.

— К Белому дому! Сейчас там начнётся. — Толпа растекалась. Оля увлекла Илью к Белому дому.

Стены высотных домов и асфальт, нет деревьев — нет чувства осени. От усталости Оле хотелось присесть, но серый асфальт упирался в стены, и не было скамейки.

— Устала? — Илья всегда угадывал её состояние и сейчас, чувствуя себя виноватым, смотрел, куда бы её усадить. Он свернул во дворик.

— Давай сядем на газон, на кленовый ковер.

— Простудишься. Да и не дадут тут сидеть, вон патруль.

— Почему иностранцам можно?

— И вьетнамцам, и албанцам, и цыганам... Первые омоновцы никого не останавливали, никого не спрашивали. Прохожих, идущих к Дому Советов, становилось всё больше. Теперь стали идти и навстречу. Во всех было что-то необычное, словно те, что шли туда, чего-то ждали, а те, что шли назад, решили, что лучше не ждать.

Все проходили через дыру в заборе, просторную и широкую, как ворота.

— Куда идёте? — наконец остановил омоновец, похожий на студента.

— Мы из Литературного института, — словно пароль произнесла Оля.

— Писательница? — хмыкнул парень, перебросив автомат с одного плеча на другое. — Вы видите, все оттуда уходят. Потом писать будете, когда всё кончится, а сейчас не лезьте.

— Почему нам нельзя, а им можно? — играла капризным голосом Оля, показывая на шмыгнувших в дыру парней. — Мы тоже хотим всё увидеть, — Оля обходила омовца, улыбаясь ему.

— Здесь нельзя! — повысил он голос, останавливая парней. — Дворами... — показал на другую дыру в металлической ограде.

Оля быстро прошла, пригнулась, проскочила, увлекая за руку Илью. И вдруг нахлынула тревожная весёлость, словно она попала наконец туда, где должно произойти необычное, важное, что всё сразу изменит.

— Вижу! — устремилась она, туда, где был насыпан песок для детской площадки.

Илья посмотрел, куда она направилась, и рассмеялся. Она плюнулась на деревянную лавочку.

— Вояка, — он смотрел на неё, ему нравилось, что она всё смешивала: и беспокойную серьёзность, и женскую усталость, была в ней почти детская непосредственность.

— Смеёшься? — начала она обижаться. — Ну, устала я, устала...

Когда она отдыхала рядом с ним, ей казалось, что она дома, что мама где-то близко и всё, что вокруг, может принести только радость и тишину. У неё не было брата, и близость его восполняла это. Радость близости переполняла её, была так непостижимо нова, что она не умела и не пыталась объяснить себе это. Она не боялась, что это может разрушиться.

Она забылась на минуту. Открыла глаза: в дыру проникали небольшими группами старики, жаждущие зрелищ, студенты, желающие видеть жизнь своими глазами. Тревога их возбуждала, и они казались радостными.

Но такое же необоснованное чувство уверенности было и в Оле. Вот она ясно слышит звуки выстрелов, но они не останавливают, а заставляют идти быстрее. Куда, откуда, в кого стреляют? Казалось, там, куда они идут, большое сердце и оно выдаёт эти бухающие толчки.

Наконец-то они вышли из дворов. Вдоль дороги стояли двумя колоннами бронемшины. Перед машинами — военные. Машины как бы образовали коридор. Оля невольно устремилась в него. Голубоглазый лейтенант остановил их:

— Тут стреляют.

— Здесь? — не поняла Оля, ведь он, лейтенант, стоит здесь так же открыто, как идут и они.

— Всё простреливается... Вон там снайперы, они стреляют везде...

— А разве стреляют не по Белому дому?

— Тут трудно сказать, кто куда стреляет, но в таких ситуациях шальные пули всегда есть. Держитесь за машинами. Но здесь нельзя...

— А вон пошли люди...

— У них пропуск, они здесь живут...

Оля потянула Илью за руку, боясь, что с ним не будут так долго объясняться, а просто прикажут и заставят вернуться. Теперь при каждом выстреле ей казалось, что стреляют в неё. Страх подхлестывал идти дальше, но куда дальше, она не знала.

— Стоять! Куда идёте? — наперерез им шёл омоновец. — Не видите — тут стреляют?

— Не видим, — подалась плечами вперёд Оля от его грубого окрика.

— Назад!

— Не кричите.

— Что?! — он вскинул автомат. — Кругом!

Байкалов повернулся, Оля с раздражённой ненавистью хотела крикнуть в лицо омоновцу, но удержалась, видя, как Илья послушно выполняет команду.

— Вперёд! — ткнул Байкалова стволом в спину омоновец. Он был так восхищён, так вознесён своею властью в этот миг над человеком, словно «боготечную звезду узревше».

Оля с ужасом смотрела на чёрный металлический ствол автомата и чувствовала зловещую тьму дула. Память выдавливала кадры фильма: ведут партизан на расстрел. Человек с автоматом — кто он? Почему так зафиксировала её память детства? Страх парализует? А почему Илья знает, куда идти? Вдоль БТРов... через дорогу... к автобусам. «Если на стене висит ружьё, оно непременно выстрелит», — сидели у неё в голове

слова одного литератора. А если оно уже в руках человека? А если оно уже направлено в спину человека?

Омоновец подвёл Байкалова к автобусам и привычно перекинул автомат через плечо.

— Почему вы позволяете себе это делать? — не удержалась Оля, когда Илья смешался с толпой.

— Что?! — уставился на неё омоновец. — Кто это разговаривает? — Он схватил девушку за руку, удивляясь её запоздалой смелости. — Ты?

— Почему вы говорите мне «ты»? Уберите руки!

— Да ты знаешь, что с тобой сделают? А ну марш отсюда! Говорить научилась? — лицо исказилось злобой.

— Не кричите! — вырвалась она из его тяжёлой руки. — Вам никто не давал права кричать на нас.

— Здесь нельзя находиться!

— Для этого есть слова, и не орать надо, а говорить! Здесь люди...

— Что?! Эти гады вас тут всех с дерьмом сравнивают!

— Пока я вижу, что это делаете вы!

— Что?! — он опять схватил её за руку и потянул к автобусу. — Провокации устраивать?!

— Это вы гады! — она невольно отступила в толпу.

— Что?! Кто гады? — он приблизился, но кто-то оказался между нею и омоновцем.

— Посмотрите в зеркало и увидите своё лицо, — ей никто не мешал говорить, только глубже втягивала толпа в свою толщу.

Когда Оля замолчала и опомнилась, кругом были парни и девушки, старики и просто люди, трудно было сказать про их возраст, род деятельности и образование. Но она чувствовала себя в какой-то безопасности и надёжности, словно эта стена из людей не простреливалась. И вдруг почувствовала лёгкость и спокойствие, исчез страх перед всей этой стрельбой. Словно в руках у них были автоматы не из стали, а из папье-маше. Кто бы помог лености тягчайший сон отрясти. Как говорила бабушка — «омраченные просветити». И вдруг возникли у неё вопросы.

Почему государственный деятель вышел на августовский балкончик Белого дома в окружении поэтического дарования и генералов и никто два года назад не выстрелил, а сейчас он отдал приказ стрелять? Никто из тех, кто сейчас окружает Олю, не поверил бы тому, что

президент не знает об этой бойне. В августе девяносто первого был дождь, обыкновенный августовский, московский. Они с мамой, Сашей и дедушкой приехали в Москву отдыхать. Почему сейчас дождь из свинца? Она смотрела в лица людей, и ей казалось, что об этом думает каждый. И никто не хочет верить тому, что происходит перед ними. Это те же люди, которые были в девяносто первом году, когда её мама много и подробно рассказывала об этом Белом доме. За два года они потеряли веру в своего президента?.. Стреляют, стреляют, стреляют...

— Ты откуда? — сорвалась Оля на «ты», протолкнувшись к парню с автоматом. — Из какого города?

— Я? — улыбка и недоумённый взгляд. — Я тут при чём?

— Может, земляки?

— Орловская область? У тебя говор не такой.

— Из деревни?

— А что? — продолжал натужно улыбаться.

— Зачем автомат взял? — Олю раздражала его улыбка. — Это зачем?

— Я солдат!

— Он же стреляет!

— А вы не лезьте, и он стрелять не будет.

— Так тебя же спрашивать не будут, тебе прикажут и всё. И ты стрелять будешь! Стрелять в нас! В меня!

Оля словно пощёчиной смахнула с его лица идиотскую улыбку, которая напомнила ей Бориса Зуйкова из Клёповки, из-за которого похоронили девочку.

— А ты что бы сделала? — он терял сдержанность, злился.

— Я хочу в Белый дом. На переговоры!

— Я пропущу! — смотрели они друг на друга, как два сумасшедших. — Но там есть другая цепь солдат.

— А ты за себя отвечай!

— Иди! — подтолкнул её в плечо, теряя над собой контроль. — И автомат дам!

— Давай!

— На!

Оля оглянулась. Её отделяло от толпы шагов десять. Ильи рядом не было.

— Ты предал народ! — Она смотрела прямо в его злобно насмешливые глаза. — Ты трус!

— Иди! — Он сорвал с плеча автомат и грубо сунул ей в руки. — Бери! Ну?

Оля растерялась. В секунду, в которую он дал ей притронуться к личному оружию, она почувствовала всю безысходность человека от военной дисциплины. Сзади в спину смеялись, но не злобно, а с мягкой насмешливостью, так, как смеются над женщиной, расхрабрившейся поднять непосильный груз. Это же табельное оружие, без него парню какюк, трибунал.

— Пойдём, — кто-то взял её не за руку, а как-то за рукав куртки выше локтя и тянул как учитель непослушного ученика. — Пойдём!

Она оглянулась, это был не Байкалов. Но в голосе строгая, родительская требовательность. Она не могла его не послушаться. Люди в толпе перед ней расступались, давая дорогу, словно она совершила хоть и смешной, но всё же героический поступок. Здесь, в этот момент, видимо, всё прощалось друг другу, словно проходила проба, и каждому давался шанс проверить и понять себя. В чём он, спасительный талант веры народа? Вот она, историческая память, не в кино. Где, в ком они, десятивековые корни? Оля вглядывалась в лица, словно ища подсказки на самом сложном из экзаменов. Но лица людей были такие же, какие она вчера видела в метро, в троллейбусе, в магазине.

Выстрелы участились, и теперь, казалось, всё вокруг взрывалось. Навязчиво лезли кадры из фильмов: бомбёжка, беженцы спасаются, женщина с ребёнком упала убитая осколком, ребёнок в страхе и трепете простёр ручки вверх и громко испуганно плачет. Но снаряды рвались тут, в центре столицы, а люди разговаривали, и никто никуда не бежал и даже не поддавался угрозам омоновцев, заставляющих уйти.

Молодой человек вёл её, не отпуская рукав куртки. А она чувствовала, что не хочет, не может уйти, как и эти люди, которых никто не тянул за рукав. Она словно чего-то ждала, и это чувство объединяло с теми, кто пришёл сюда. Она в стенах института видела, как и преподаватели, и студенты страстно мечтали об одном: о том, чтобы ничто их не тормозило, не связывало на творческом пути. Все хотят успеха. Сейчас происходило такое, что давало и отрешённость, и слияние со

всеми. В самом воздухе повисло это особое волнение. Она не хотела, чтобы её уводили.

— Здесь хотят сделать последний день Помпеи! Ты что не понимаешь и не видишь уже ничего? Как у Бондарчука в последней серии «Войны и мира»... Не помнишь, гимн французский в конце сериала пропет не был?

— Перестаньте! Я не уйду отсюда!

— Тогда тебя увезут. Оглянись, уже в автобусы дубинками приглашают...

Они долго шли по обочине моста, не шли, а почти бежали. Выстрелы отдалялись и, к удивлению, совсем перестали быть слышны, словно там, на другом берегу, ничего не происходило. Чем дальше они отходили, тем нереальнее всё становилось, как бы растворялось в городской суете машин и пешеходов. В метро безмолвные лица, заслоняющиеся газетами, как вчера, позавчера, как в день её первого вступительного экзамена в Литинститут. Это было удивительно и страшно. Люди, живущие в одном городе, совсем не связаны друг с другом. Она смотрела в лица людей — заложников событий, которые совершались сегодня, здесь, вокруг.

— Куда мы пойдём? — склонил набок голову, давно не знавшую рук парикмахера, новый знакомый. — Давай ко мне, чаю попьём или чего-нибудь покрепче — расслабиться.

Его голос показался ей ненастоящим, фальшивым. Этот человек слегка качал головой из стороны в сторону, приподняв плечи. Было жутко, будто Москва на заклании. И вот сейчас затрубят трубы юбилейные и всё рухнет. В чьи руки предали Москву? И почему все вокруг делают вид, что ничего не происходит? Цветы продают.

— Хочешь миллион алых роз? — уголки рта опущены, словно он укололся о красивые шипы.

Оля вздрогнула, будто до сих пор была одна и услышала чей-то голос.

— Розу Иерихона? — она наконец посмотрела на него уверенная, что он её не понимает.

Нет, она не хочет розу. Когда тебя не может понять никто, лучше остаться одной.

— Сейчас, наверное, можно больше узнать по радио и по телевизору, — размышлял новый знакомый. — Пойдём ко мне...

Нет, она пойдёт в общежитие, чтобы там остаться одной.

На вахте для неё была записка: «Зайди к тёте Кире. Ждём».

* * *

«Марток — надевай семь порток», — Вениамин Шершнев помнит, что его мать встречала весну на две недели позже — по старому стилю.

«Осенью семнадцатого года календарь сменили, и новый стиль ввели, и октябрь стали называть ноябрём — прямо тебе реформы Петра Великого. И ноябрь стали называть октябрём. Праздники почти восемьдесят лет по радио и телевидению называли ноябрьскими, приучали народ, а революция так и осталась Октябрьской. «Осенью в России всегда много шумели: по деревням свадьбы играют, в городах реформы да перевороты. Из золотой осени делают кровавую. Седьмое ноября — красный день календаря. Кроваво-золотая листва под ногами — вот вам и клейкие листочки. Эх, ни Достоевского, ни Толстого, ни даже Бунина... Всё какая-то мелочь, и пишут о мелком уязвлённые гордыней. События какие разворачиваются! А они всё: цветочки, картиночки, прогулки по Елисейским полям. Закольцовывает время восьмой десяток лет эксперимента русского социализма, дни осыпались, как золото листьев, и дела обнажились», — так думал офицер в отставке Шершнев, приехав в Москву для подготовки операции на сердце.

Торопливо шёл он по набережной Москвы-реки, перекидывая непривычно трость, которая не столько служила ему опорой, сколько придавала уверенности, которую теряешь, когда долго лежишь на больничной койке. Но вот наконец он услышал гул толпы и увидел тысячи людей, полумесяцем расположившихся вокруг величественного здания Белого дома. Казалось, толпа бьётся о стеклянный занавес, за магическим кругом которого тайна, и она сделает понятным всё.

Шершнев невольно ускорил шаги, трость стала ударять по асфальту чаще, словно бежала за ним. Он удивился множеству возбуждённых женщин. «Предатели народа!» — скандировали они и махали руками. Было не совсем понятно, кому они бросают сии грозные обвинения. Он пробирался в гущу, забывая, для чего брал трость. Шёл тридцать

пятый день после ранения. «Один трюмб нужно удалить и заменить клапан, — как решил хирург. — Обычная, рядовая операция».

И вдруг грохнул выстрел. Толпа смолкла, притаилась на мгновение, но только для того, чтобы с ещё большей силой взорваться. Эйфория возбуждения дошла до экстаза, всё вокруг ревели, безумствовало в словесных оскорблениях. Это страшное разрушение гармонии человеческого бытия творимо было выстрелами и взрывами, которые раздавались всё чаще и чаще. В суетящейся, возбуждённой толпе слышались и проклятия, и ликование. Как бороться с возбуждением толпы? Как защититься от разрушающих волн эмоциональных всплесков? Шершнев был в гуще толпы, но люди не толкали его, даже не задевали, а будто обтекали, словно чувствуя, что ему эта беснующаяся толпа чужда.

— Тоже мне, либералы! — крикнул в сердцах старичок в тёмных очках, споткнувшись о чужую трость. — Это в Москве-то стрелять?! Позор на весь мир!

Тряхнул тростью Венечка Шершнев, но воздержался вступить в дискуссию.

Толпа наконец стала расходиться, словно круги от брошенного камня, теперь можно было идти, не расталкивая и не трогая никого.

Он сдерживал себя, чтобы нечаянным движением или словом не спровоцировать драку или не вызвать хамства, льющегося здесь сильным грязным потоком.

— Предатели! — кричала надрывно, словно на похоронах, женщина в круглой красной шляпе горшочком. Шляпа выдавала её возраст и социальное положение, во времена молодости эта женщина жила в большом достатке. — Правильно стреляют!

— Как?! Там же депутаты! — не понимал ликующей толпы старичок в тёмных очках. — Мы с вами их выбирали.

— Первый выстрел в Останкино сделали они! Предатели народа! Они спровоцировали.

— Первый выстрел был сделан спецназом «Витязь».

— Вы знаете, что сейчас в Белом доме находится десять тысяч человек?!

— Это не люди! — кровожадно скандировала пожилая женщина. — Расстрелять! — Шляпа сползла ей на глаза, как горшочек, прикрыла пол-лица.

Старичок испуганно попятился от странной в неистовом фанатизме пожилой женщины. Она могла бы быть ещё привлекательной, если бы её лицо не искажала злоба.

Однако женщина легко прокладывала себе дорогу, крича и размахивая руками. Вениамин пристроился следом и довольно свободно продвигался под её прикрытием. Они шли в гущу толпы, словно там была разгадка всех событий. Но вот над толпой пронёсся гул, толпа отхлынула от сцены действия и стала упорно выдавливать людей из центра на обочины.

— Разгоняют! Назад!

— Мы здесь с утра! — кричала в давящую толпу скандировавшая женщина. — Никуда мы не уйдём!

— С утра? — Шершневу подошёл к ней ближе. — Во сколько всё началось?

— В десять часов здесь стоял сплошной грохот, даже земля под ногами шевелилась.

— Вы тут были?

— Да говорю же, была! И начали стрелять из Белого дома, я всё видела. Это предатели народа!

— А почему они предатели народа? Они защищают парламент!

— Это вот так они защищают? — женщина впиалась в него глазами и, казалось, вот-вот бросится. — Этих предателей народа надо всех уничтожить!

— Назад!

— Куда прёшься? — обрушилась женщина в шляпе. — Тоже мне дворянин с тростью!

— Что вы меня толкаете?

— А ты что — на балет пришёл?

— Скажите, пожалуйста, вы-то зачем здесь? Вам дома надо сидеть, внуков нянчить.

— А тебе не нянчить! Ты своих и не видал никогда, скажи правду?

— Что вы мне тыкаете? Отжени от мене уныние.

— Господин какой! Вот там тоже были господа...

Он пересилил в себе обиду от оскорбления, отвернулся от женщины.

Обстрел усиливался, гул толпы нарастал.

— Что делают?! — воззвал старичок, глядя с прищуром сквозь очки. — Господи, кто же отвечать за это безобразия будет?

Вениамин неприятно поёжился, от старичка плохо пахло, какой-то залежалой плесневелостью. Но их прижимало друг к другу, толпа давила.

— Ведь начало операции должно было быть в шесть, а начали на сорок минут позже.

Резко оглянулся Шершнев — кто же тут всё знает? Мудрецы сапожных дел. У Венечки отец — донской казак. А мать твердила ему с детства, что она шведских кровей. Сейчас ему эта версия особенно подходила — загранпаспортом он уже запасся и подумывал о смене подданства.

— Во! Бьют наших! — кучковались мужички, то ли бомжи, то ли пролетарии-пропойцы.

— Видать, солидно приняли на грудь! Хорошо им...

— Сплошной грохот, а этот гнусно подсеваает, — прокомментировал кто-то.

— Говорят в спортзале, что тут десантники нужны!

— Или помощнее что-нибудь! Прямо с вертолётов сбросить что-нибудь.

— Парадную лестницу, если захватят, то баркашовцам крышка!

— Депутатов выводят.

— Всех?

— По одному.

— Ну, теперь можно подрывать, — махнул старичок рукой бомжам. — Похоронят их здесь. Белый дом будет братской могилой, — ощерился, показывая изъеденные кариесом жёлтые зубы. — Всё! Финита ля комедия! — Губы скривились тонкой змейкой, и улыбка проползла по лицу и исчезла.

Стало противно смотреть в эти обезображенные страхом и восторгом лица, все люди казались Венечке сморщенными упырями, и мороз пробежал по коже не от выстрелов, а от зловещего маскарада.

И он стал протискиваться, чтобы выбраться из толпы. Но грохот сгонял всех в кучу, давка усиливалась. Вениамин Шершнев побоялся, что ему не хватит сил выбраться, если начнётся настоящая свалка. А с этой публикой всё возможно. И он, определив, с какой стороны давят больше, стал перемещаться, помогая себе и тростью, и локтями.

Но вот толкотня усилилась, сжалась в клубок, и вдруг все побежали. Этого он уже своему больному сердцу позволить не мог. Его толкали, двигали со всех сторон, но он стоял.

— Чего стоишь? Беги, осёл! — кто-то сзади ширнул его кулаком.

Он принял этот жест за дружеское участие, но бежать не мог — сердце явно давало серьёзные сбои, и последствия могут быть плачевные. Шёл, выбрасывая вперёд больничную трость, понимая, что останавливаться нельзя. Толпа неслась мимо, как табун испуганных лошадей. И вдруг удар прожёт всю спину, ему показалось, что это взорвалось сердце. Но боль быстро стихла. Он оглянулся. Дубинка молодого омоновца обрушилась на замешкавшегося старика.

— Господи, просвети мя светом неприкосновенным. — Со старика упали очки, он дёрнулся в попытке уклониться от дубинки и, споткнувшись, сам упал следом за очками. Встав на колени, стал поспешно собирать осколки тёмных стёкол.

Шершневу стукнул его по плечу тростью. Старик испуганно глянул на него, опомнился, вскочил и побежал, словно оса ростом с человека гналась за ним.

— Народ — стена необоримая, — продолжал он говорить, казалось, если он перестанет произносить слова вслух, перестанет и двигаться, и жить. — Понесу тяготу благую... Господи, любовь озари.

24. Октябрь 93-го

Октябрь 1993 года. На Горбатом мосту грохот, гром и молния сошлись в битве. Народ не безмолвствует. Огонь! Стреляют из пушек, из автоматов, из пулемётов.

Полковник верил и не верил глазам и ушам. В центре Москвы, в сердце России? Он с ужасом смотрел на всё, и мысли перепрыгивали одна через другую. Блокаду прорывают? Полковник смотрел на часы: восемь, девять... Огонь не прекращается... Чей это приказ? Теперь он понял, что остался не зря. Пусть не те депутаты, не тот проект, пусть будут десятки, сотни, тысячи ошибок, но они верили, что найдут верный выход. Теперь расстреливают не его, лётчика-истребителя,

не Андрея-баркашовца, не депутатов, не Черномырдина, не Руцкого. Стреляли в народ. Это чёрный Белый дом.

История становилась реальностью. Или наоборот. Вот так народ вершил и вершит свою судьбу. Полковник видел воочию. Архитектор всех революций и перестройки — сам народ. Не Яковлев, не дуэт Громыко — Горбачёв, а народ. Железный занавес поднят, как дамба на плотине, и хлынул людской поток.

Не сон ли это из прошлого, из 1905 года? По Горбатову мосту восставшие рабочие возвращались, проиграв битву за свободу, честь, достоинство. Тогда к ним присоединился хозяин фабрики Шмидт. Сто лет борьбы и опять в рабство? Реставрация? Кто, кто же архитектор жизни?

* * *

Байкалов Илья тоже попал в Белый дом. Он кинулся искать Олю и от страха за неё бродил по коридорам, входил в какие-то комнаты, ему всё это было совсем неинтересно и не нужно, но требовалось найти её, ведь влезет куда-нибудь. Он не любил москвичей, не верил им. Его дед — выходец из Сибири. Нервы там у людей крепче, и жизнь научила не относиться к ней как к игре.

— А, это вы, Борис Константинович, — обрадовался Байкалов, увидев знакомого полковника. — Тоже стреляете?

— Нет, ещё не стрелял... А вы, писатель, прогуливаетесь в стороне?

— Я здесь... Я не понял, как тут оказался. Я ищу...

— Что? Не это? — полковник кивнул на автомат.

— Нет, — поспешно отмахнулся Байкалов. — Помните, я вчера был с женщиной?

— С женщиной? — полковник уставился на него. — Вы ищете женщину среди трупов?

— Вот этого-то я и боюсь. Влезет куда-нибудь, она ведь писательница, всё знать хочет.

— Жена?

— Нет...

— Понятно. Писательница?

— Писательница, — печально кивнул Байкалов. — Она без меня пропадёт.

— Ты сам на шальную пулю не нарвись. Стреляют-то снайперы. Сидит твоя писательница, пишет по горячим следам с огоньком. Для газеты? Правду всё равно не пропустят.

— Мы не газетчики.

— Тихо, что-то в мегафон говорят.

«Наши! Наши! Прекратите огонь!»

— Что говорят? — у Байкалова с одним ухом было плохо, и он, не доверяя себе, привык переспрашивать. — Кто наши?

«Прекратите огонь! На БТРах прекратите огонь! С двенадцати ноль ноль до двенадцати тридцати огня не будет. Выходите сдаваться».

— Они говорят: «Выходите сдаваться». Выходи, хватит тебе мемуаров на всю оставшуюся жизнь. Бери свою писательницу! И уходите! Если вы останетесь на этой бойне, кто же правду расскажет. Уходи — это твой самый честный поступок. Иди!

Байкалов смотрел на полковника, и ему не хотелось отрываться. Он чувствовал в этом военном человеке внутреннюю силу правоты. Но на миг Байкалову показалось, что если бы он был там, за стенами этими белыми, то был бы уверен в себе так же, как сейчас. Но он также был уверен, что полковник в азарте охоты за генеральскими погонами в него не стрелял бы.

— Я пришёл сюда, — не оправдываясь, а как бы размышляя вслух, делился с полковником Байкалов. — Я пришёл, чтобы защитить женщину. Она учится. Она ведь совсем девчонка, из провинции. Пьяные хамы! Зачем эта стрельба? Я не уверен ни в чём. Сейчас никто не понимает за Байкалом. Вот они обещали: «Огня не будет». А стрельба продолжается... Что это?

— Не слушали... А может, и не слышали, — хладнокровно комментировал полковник. — Это война, война...

— Ну, я пошёл...

* * *

Площадь перед зданием Верховного Совета. Стрельба полностью не прекращалась, но все выносили раненых. Ни защитники здания, ни танкисты не стреляли в собирающих раненых. На войне как на войне. Были раненые и у танкистов. На площади осталось много убитых из тех, кто пришёл на баррикады или жил в палатках у здания Верховного

Совета. Среди них были и молодые женщины. Байкалов искал глазами Олю, вдруг почему-то забыл, во что она одета. Он стремительно забега́л за каждый закоулок. Ужас! Женщина лежит... Лицо — сплошная кровавая маска.

«Море стеклянное, подобное кристаллу».

«Солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась как кровь».

Он стал вспоминать подробно, как они пришли, чтобы просчитать, где можно искать Олю.

* * *

Раньше в тёмной тишине одиночества полковник мечтал о будущей жизни. Но о том, что он большой романтик, мало кто знал.

Теперь Борис Константинович искал причины поступков, перебирал в памяти давно прошедшие события.

Шестнадцать лет отлетал в небе как птица.

А родился в тюремной камере. Тридцать седьмой год. Нет, родители были простыми тружениками: ни дворянского прошлого, ни политики, просто нищета и бедность. Вместо квартир селились в камерах барака. Союза с Мефистофелем он никогда не заключал. Зачем? Чтобы окунуться во все прелести жизни? Но он жил в небе, а что может быть величественнее полёта?! У него были железные крылья. Пусть там никто не вызовет на бис, но жизнь выше и игры не прощает. Небо, если очень высоко подняться, и днём чёрное.

И радуга там яркая. Она идёт за самолётом как тень то по глади океана, то по горным хребтам облаков. Что в небе закон — то на земле чудо. Кто поверит, что моя тень — радуга?

Он, как старший сын, уже начал понимать и знать жизнь в свои семь лет.

Сестрёнку назвали Марией. Его очень сместило, когда она, ухватившись за его мизинец, увлекла за собой: «Гу... Гу... Гулять».

Но зимой она перестала быть весёлой. Стихла. Он кормил, играл с ней.

Однажды утром она никого не позвала.

Врач снял узкое чёрное пальто без мехового воротника. Из верхнего кармана халата вынул зеркальце. Протёр его и поднёс к лицу сестрёнки, почти касаясь её тоненьких белых губ. Борису стало жутко. Зачем это?

Врач вдруг убрал зеркальце и влез в своё чёрное пальто.

Дверь хлопнула, и мать разразилась страшным смертельным криком: всё застонало, закружилось, будто вьюга с улицы ворвалась, и квартира была похожа на мрачную камеру.

«Смерть!» — мысль, как молния, чуть не убила его. Он, семилетний мальчик, убежал за перегородку, словно прячась от молнии смерти. Один сидел на полу, закрывая уши руками, и прятал голову в согнутые коленки. Откроет глаза — вьюга везде холодная, белая, чистая, сверкающая серебристыми иголочками. Он чувствует себя таким же маленьким, как сестрёнка, и ему надо за что-нибудь уцепиться, чтобы идти. Смерть забирает тех, о ком забывают. Он спал и во сне забыл о сестрёнке. Теперь его заберёт смерть, потому что он один. У смерти длинное серебристое платье в снежных звёздочках. Почему умирают так тихо? Он спал, когда умерла сестрёнка, и мама спала, и папа, и брат. Страшно.

Борис пронёс этот страх через всю свою жизнь. Но научился преодолевать и бороться. Никто не знал об этом.

Подошёл к маленькому гробику человек с чёрными усами:
— Застудили ребёночка.

Вождь повёл сердито кавказской бровью.

* * *

Всё будет сегодня. Это полковник знал, чувствовал, как солдат, идущий в бой. Теперь стреляли друг в друга люди по какой-то ошибке, по недоразумению. Или чьей-то злой шутке? Полковник ясно видит ситуацию, это абсурд. Свои стреляют в своих? А за что, кого защищают? Какая цель? Но ему отсюда уходить не хочется. Там, за перегородками этих «белых» стен Дома Советов, другая жизнь. Веря идеям социализма, он жил сам и учил жить так же тысячи людей. Он присягал сам, потом принимал присягу у сотен молодых людей. Он военный лётчик-истребитель. Ему казалось, что все пули, вонзающиеся в стены, в мраморные лестницы, в потолок, находили его самого и застревали в нём. Но от этого свинца полковник совсем не чувствовал боли, и ни одна капля крови не пролилась из его онемевшего тела. Он сам становился свинцовым.

Это состояние... он знал, когда оно бывает. Что он хотел понять? Впервые над полковником одержал верх вопрос: имеет ли он право

убивать? Раньше он убеждал, что насилию должна противостоять сила, теперь он не мог объяснить самому себе это. Кто знает, где здесь сила, а где насилие?

Полковник никому из близких не сказал, что на баррикадах. Ему можно было думать только о себе и о войне. Кто сейчас убийцы, а кто защитники? Словно его самолёт перевернулся в небе и он потерял ориентир. Где земля? Где небо? Где правда: на земле или на небе?

25. На пасеке

Мария думала, что завтра увидит, как поднимется огненный шар над горизонтом, но погрузилась в сладкий сон, и разбудила её серая кукушка поздно, когда весёлое солнце уже подсушило росу.

Трава в пятнах рассыпавшегося солнца, но земля ещё волглая, холодная, ночная. Ноги омываются росой. И хочется куда-то бежать далеко, за линию горизонта. У реки над лугом курится туман, как над вершинами гор. Молочно-голубой туман, казалось, поднимается и тает в небе, подчиняясь космическому ритму прилива.

— Кто-то собирался встать с восходом?! — Пётр с радостной, юношеской, светлой улыбкой обернулся к ней от улья.

— Ой! — подпрыгнула она, как девчонка-школьница, и быстро присела — прямо по пальцам ноги скользнула холодная мокрая ящерица. — Смотри, какая она зелёная! А сколько времени?

— Полвосьмого... Рано ещё... Спи...

— Если встать с рассветом, то возникает ощущение полного дня... Я пошла к роднику.

Мария вспоминала первую любовь как радость жизни, мелькнувшую радугой. Такие дни благодатного лета, быть может, и есть рай на земле. Уголок счастья, время любви как цветение. Люди все разные, как цветы полевые и садовые: вот незабудки, а вот розы. Сколько цветов, столько оттенков любви.

Трава густая, лоснящаяся, как шерсть сытого, холёного молодого медведя. От росы ноги хлюпают, будто по болоту пробираешься. На левом склоне почему-то нет разнотравья, словно кто-то выкопал, оставляя лишь ровные, как бы стриженные стебли густо-зелёной травы. Так

Маша шла шагов десять-двадцать в необъяснимом напряжении, её не покидало чувство страха, будто медведь-великан вот-вот проснётся. Вдруг стали попадаться свежерытые бугорки земли, гранулированной, иссиня-чёрной, поднятой вверх трудами степных зверьков.

Солнце ещё мягкое, нежное. Ласково играет вольный ветер.

Она прониклась безмолвием: слушала, каждой клеткой слушала, что говорит трава.

Пересохшая река дико заросла, а когда-то она в своём русле собирала воду из родников и уносила её в Дон. Теперь только куга редкими тёмно-зелёными островками указывает на затянувшиеся смытым чернозёмом загубленные родники.

Маша шла босиком, аккуратно нагибая ногой траву, чтобы под носком была как бы подстилка.

Вороны слетались, диким криком перекрывая все птичьи голоса, рассеивались чёрными пятнами по скошенному, но ещё не высохшему розоватому эспарцету.

Теперь надо спуститься по густо заросшему разнотравьем склону.

Вдруг солнечная роса так заиграла всеми цветами радуги, что девушка, замороженная, остановилась. А радуга светила на все триста шестьдесят градусов. Природа — прекрасный художник! Что это перед ней? Нитка жемчуга или белые цветки в односторонней кисти?

— Росянка, здравствуй! Ничего не надо придумывать, всё есть на земле... Это же рай! — Присела перед цветком, подчиняясь неодолимой красоте природы, погладила верхнюю сторону округлых листьев с красными желёзками. Каждая желёзка заканчивается блестящей, как роса, капелькой клейкого сока. — Росянка, росинка, россиянка... — стала подбирать красивые слова для рифмы и созвучия.

Роса на цветке играла, переливалась от света в небе. Посмотрела вверх — верхушки травы касаются облаков, словно небо начинается от кончиков. Росинка — капля — космос...

Вот ветер раскачал цветущие голубоватые шапки-кубанки безлистного подорожника, исцеляющего древнегреческих и персидских путешественников.

Порыв ветра становится сильнее. Качается, плывёт к голубому горизонту степь. Из-за холма выплывают белые паруса облаков. Пошёл запах травы сильнее, гуще. И от порывов ветра раскачивается,

волнуется цветущая степь, сохранившаяся вдоль поймы пересохшей реки и в неудобных для пахоты ложбинах.

И кажется, плывут островки степи к горизонту, туда, откуда, запутавшись в сетях перистых облаков, разгораясь, начинает светить солнце так ярко, что глаза не выдерживают и прищуриваются, словно от счастливой улыбки.

Она расслабилась и ощутила струящиеся солнечные волны. Солнце заполнило Машу, как будто она была сосудом. Любовь всей природы теперь была обращена к ней! Рай на земле давно создан! Красота какая!

И вдруг вороны поднялись разом, оглушили карком, собрались чёрной стаей и понеслись к старому, заброшенному загону. Чёрное воронье облако удалилось, стало невидимым, и опять над разнотравьем — благодатные звуки утра.

Ветер слегка усилился, и теперь каждый цветок кивает, даже пурпурная королевская колючка, пахнувшая мёдом, кланяется земле. И качающийся цветок всё выше поднимался над терпеливой травинкой всё виднее в своём первозданном величии. Всюду дух вольной степи!

Небо чистое, только на западе, в стороне, куда улетели вороны, — полоса, словно след от реактивного самолёта.

Вот и копанка в густых непроходимых зарослях куги, только со стороны пасеки выкошена дорожка. Верхушек камышей не достать, даже если вытянуть руку. Как хрупко всё! Она сделала шаг, и сразу прекратилось безмолвие. Вокруг воды застыли лягушата. Наклонилась девушка над зеркальной гладью — лягушата разом ожили, запрыгали, и покрылось зеркало мутью болотной. Вот квакающие обитатели ускакали подальше в непроглядные болотные джунгли. Только маленький глупый косолапый лягушонок растерялся и остался в копанке, то ли принимая бой один на один с великаном-человеком, то ли потеряв от страха способность двигаться.

Искупалась, и словно таинство очищения коснулось её, чувствовалась родниковая свежесть во всём теле.

— А, вот вы где, заячьи глазки! — Пётр весело шагал по хлюпающей куге и протягивал ей букет полевых цветов.

Колокольчатые, зеленовато-белые цветки смотрели на неё с высокого прямого цилиндрического стебля, сохраняя ещё не угасшую гордость живого растения.

— Это же спаржа! — удивилась она.

— Чай сделаем. А вот если красные ягодки попадутся — нарви, пожалуйста.

— Волчью ягоду?

— Глупышка! Для кого волчья ягода, а для кого сила мужская!

Спирально расположенные чешуйчатые листья и ветвистые стебли были выдернуты с корневищем.

— Так волчья или мужская сила? — Они выбрались из зарослей бывшей реки, но Маше захотелось ещё побыть здесь, среди травы и неба.

— Там пчёлы роиться собираются... Приходи. Мне скучно без тебя, — сказал он.

Когда он уходил, Маше захотелось вскочить и догнать его, но она продолжала лежать в траве, подчиняясь волшебному стрекотанию кузнечиков. Радость там, где царствует свобода. Спустилась к лягушатам, в джунгли камышей. А потом поднялась в степь, легла в разнотравье. Из реактивного облачка опять незаметно возникли штрихи, похожие на полупрозрачные облачка. Потом облака стали сгущаться и расцвели белым воздушным цветком. Чем ниже небо к горизонту, тем светлее его голубизна.

Стрекоза, большая и шумная, подлетела, как вертолёт, и зависла, заслоня полнеба.

Солнце постепенно нагревало степь, и уже чувствовалась отдалённая раскалённость огненного светила. Маша набросила на голову панаму, выпила весь чай из земляники и чабреца. Жарко, а уходить не хочется.

Что же это такое: солнце, а вокруг кварцевые лепестки облаков? Какая-то светящаяся роза из расплавленной белой плазмы. Теперь смотреть на небо было почти невозможно. Время замедлилось и остановилось в безмолвии.

Одна бабочка летит, часто взмахивая крылышками, другая, слившись с нею, замерла в сладко-сонном оцепенении. Вот опускаются они на цветущий розовый клевер. Недвижимы. На гербарии — четырёхкрылое чудо.

Маша встала, она была в купальнике и босиком, и вдруг почувствовала себя частью этой природы, травинкой в степи. Солнце ласково и трепетно перетекало в неё и сгущалось в её сердце. Каждый цветок раскрылся, и вокруг стоял головокружительный, счастливый степной

аромат. Пчела музыкально жужжала, забираясь в глубину большого тяжёлого цветка. Кажется, жужжит и стрекочет каждый цветок.

Колючий татарник почти по пояс. Колючки-шипы тонкие, как жало пчелы, не на стебле, прямом и высоком, а на кончиках зубчиков листьев. Такими маленькими листочками для шипов обтянуты и большой, и малые стебли. Колючка защищена, как роза. Но наверху у самого бутона стебель нежный и гладкий, как мизинчик младенца. Осторожно! С другой стороны тоже листочек в мелких, почти невидимых колючках. Десять-пятнадцать таких листьев-шипов защищают бутон и стебель. Чем выше, тем листья реже. Так вот в чём дело — листья пеленают стебель, тянутся вдоль него, а потом отделяются.

Цветок-царь! Дорогая одежда из красной ткани как признак роскоши и величия заметно выделяла его среди других полевых цветов, он как бы стоял над ними и поднимал степь выше, как на картине Куинджи «Утро на Днепре».

Большой бутон отяжелевшей королевской колючки остался склонённым к восходу, а маленький бутончик, фиолетовые усики которого пока только едва выглядывают, легко поворачивается на запад, по ходу солнца.

Колючка... Не тронь её, и она не уколёт.

Ближе к бутону стебель становится фиолетово-малиновым, а тёмно-фиолетовые шипы превращаются в лепестки, будто шар космический спустился на землю.

Пчёлка забралась внутрь, в сердцевину, к тоненьким, мягким, как иголки лиственницы, лепесткам и тычинкам. Белая, ещё не до конца раскрывшаяся солнцу и ветру пушистая подушечка сердцевины ожила, зашевелилась под трудолюбивыми лапками пчелы, и, казалось, цветок и пчела стали одним целым. Но вот пчела включила свой жужжащий моторчик и тяжело поднялась над цветком, унося часть его в своей золотистой корзиночке-плодоножке. Цветок благодарно закивал головкой, прощаясь с маленькой труженицей.

Маша хотела аккуратно понюхать — татарник так же аккуратно уколол её нос.

Ниже — ещё один светящийся изнутри бутон. Есть и третий, незаметный, совсем маленький, как зелёный крыжовник, весь в крошечных, почти невидимых, колючках, и хотя он ещё закрыт, но остриём своего

спящего бутона следит за солнцем. Травинка, муравей, пчела — все любят тебя. И Маша принимала эту любовь.

Орёл большой, мощный, властно прошёл по кругу над степью. Для орла нет страха высоты! Летит, летит и этой красоте степной не видит конца.

Увидел Машу, вернулся. Потом кружил и кружил, спускаясь всё ниже. Распростёртые перья крыльев натянуты, как парус яхты, скользит с таким вдохновением, что хочется оторваться от земли и пуститься в это головокружительное движение вслед за птицей. Неужели он рассматривает её, как и она его?

Холмы шевелятся, ходуном ходят, как волны. Но зелёные степные волны не поднимаются девятым валом, не обрушивают всё в чёрную бездну, не испытывают страхом... Море из травы и цветов благодатно и для человека, уставшего в пути, и для орла с натуженными крыльями, и для мыши, которая вырыла себе норку, и для пчелы, уносящей нектар в улей. Море разнотравья дарит свою красоту и силу всему живому. Это рай. Степь... цветок и птица, травинка и человек стали единосущным для неё в это мгновение.

Медовый месяц пролетел до свадьбы, как у стрекоз, у бабочек, у шершня, у пчёл... Молодые были отданы природе и подчинились ей как не познавшие ещё сложностей противоречивого мира. Каждый проживает свою жизнь с самого начала, от своего сотворения. Кто из нас не познал грех и не заплатил за него дорогой, непомерной ценой? Если всё надо пропустить через себя, значит, это зачем-то нужно.

Орёл кружил и кружил над нею, словно вращался по невидимой спирали. Он ни разу не спустился к их раскопанному роднику. Однажды, как камень, рухнул на скошенный эспарцет и потом, тяжело взлетев, исчез за кромкой просеки.

— Ты чего чертополоха нарвала? — встретил он её на пасеке.

Сизо-зелёный, с ширококрылым стеблем татарник, недоумевая, качал высоким бутоном, не веря, что он сломлен.

— Похож на орла? — фантазировала Маша. — Стоит в степи, как царь в тёмно-красном пурпуре... Время делает людей или время делают люди? Тут рай настоящий.

— Человек сам себе создаёт и ад, и рай. Эх ты, дитя истории, — улыбнулся покровительственно Пётр. — То демократию подавай, то

опять царей на престол возводим... В природе всё на своём месте: львы — это львы, орлы — это орлы, а зайцы — это зайцы. Кто кем родился, тот тем и называется. — Он взял из её рук колючий татарник. — Смотри, как жалостно он поджал лапки, войлочно-опушённые листья сникли. Какой же это орёл?

— Ой! Прости! Орёл — это ты!

Он вдруг почувствовал, как начали усиливаться сокращения сердца, точно он бежал, бежал и остановился.

— Сердце сейчас разорвёт мне грудь...

— У него не хватит сил даже вырваться из-под рубашки... Каждый человек, как цветок, цветёт своим цветом.

— А ты кто: росянка, спаржа, волчья ягода или царственный татарник?

— Я просто колючка...

...В нагретой палатке — душистое пьяное щекотливое сено. В полудрёме-полусне, в травяном забытии они услышали, как подкрадывается, накрапывает, нащупывает их своими холодными пальцами дождь.

— Ой! — выскочила из сладкого расслабляющего тепла Маша. — Надо занести чабрец и душицу!

Чабрец распушился, как лисий хвост, высыхая возле палатки.

Шумят листья высокого векового дуба, но не упало ни дождевой капли на ладонь. Не было ни одного такого дерева здесь, в степи. Откуда дуб? Сохранился ли он как живой памятник былого дворянского рода? Или посадила его дочка стационарного смотрителя, что уехала вслед за красивым гусаром? Или вырос сам по себе в свободной солнечной степи занесённый птицей или зверем?

Два шершня, золотисто-чёрных, застыли в трещине старой серой коры, слились, сцепившись, и стали одним целым. Две головы с чёрными крапинками вместо глаз и одно длинное бархатное тельце. Хочется погладить их золотистую пышность свадебного наряда. Так и тянется рука, ближе, ближе, ближе... Не реагируют, не шелохнутся, спят сладким нечувственным сном.

— Это ветер балуется в листве, — высунулся он из палатки. — Угадай, что у меня?

Длинный колосок, усыпанный мелкими пурпурными цветами, трепещет в его руке.

— Цветок...

— Эх ты, цветок! В Древней Руси и Греции считали, что вербена приносит счастье.

Пётр растирал траву в ладонях.

— Чем пахнет? — насыпал в её горячую ладошку жёлтой измятой травы.

— Тобой!

— На Дону живёшь, а донник не угадываешь?!

— Ты пчеловод, а не я...

— Пчеловод никогда всего не скажет — доходи сама...

Больше всего Маше нравилось, когда Пётр начинал разводить костёр.

И она любила смотреть, как начинают прорезать темноту звёзды.

Костёр освещал тёплым светом землю, а луна холодным светом — небо. Потом свет костра и свет звёзд смешивались, и начинал царствовать дух ночи.

— Богиня любви упала сверху, с неба. И упала она на сухие листья. И любви в небе никто не мог видеть. — Голос Петра стал загадочно-сказочным, лицо его вбирало огонь костра и само светилось. — Вот как это было... — Он вернулся к началу сказки, как бы проверяя, готова ли она его слушать, и, наблюдая за ней, продолжал: — Но богиню любви внизу увидел бог огня. Тогда за богиней любви вослед бог огня пустил огненные стрелы. Охватил его, бога огня, страх, охватил его ужас. — Босое лохматое пламя выскочило из костра и стало плясать по сухим травинкам, танцующей походкой добралось до обронённой ветки старого дуба и начало, по-собачьи вертясь, вгрызаться в неё. В середине костра вдруг взвилось пламя, вылетел хвост искр и огненным змеем взвился в чёрное небо. — Она шла, богиня-защитница. Тогда она к богу огня подошла. И его она завораживала, но только тщетно. — Под верхними ветками — тёмно-малиновый, как кровь, тлен живого огня. — А богиня судьбы посмотрела вниз, увидела с неба, что упало. И он сказал так: «Это богиня любви упала с неба. И упала она на сухие листья». — Заразительное возбуждение от вертящихся язычков пламени порождало желание подержать огонь в руке, поиграть им. — Увидел её бог огня. Тогда за ней вослед он пустил огненные стрелы. И огненный ветер пустил он вослед за ней, и огненный дым пустил он

вослед за ней. Охватил его страх, охватил его ужас. — Пламенеющий огонь всё больше и больше захватывал сухих веток, крылатым чертополохом расплзаясь вокруг. — Она шла, богиня-защитница. Тогда она к богу огня подошла. И она его заволаживала, но только тщетно. И богу огня богиня судьбы говорила: «Что же это ты делаешь?» Тогда богиня судьбы за ним сама пошла следом. Отвечал бог огня: «Вот что я делаю: огненные стрелы и огненный ветер». «Так это ты так сверкаешь? — спросила богиня судьбы, и она сказала: — Пусть они уйдут, страх и ужас, пусть будут они внутри». — Поедающий огонь играл красным слизывающим языком, раздавалось какое-то потрескивающее урчание. — И бог огня вернул богиню любви на небо. Он сделал это, хотя боялся. — Полыхал, как в тёрнах огонь, вгрызлся в дерево, брошенное в жертву, — казнь огня вечного. — Но хоть и боялся, он родил её заново, бог огня. И сделал так он, что земля опять осветилась любовью. Наша любовь пусть живёт. — Воссиял огонь ярче звёзд небесных. — Пусть живёт наша любовь.

Маша смеялась над его долгим говорением, потом вдруг призналась:

— Мне не нравится твоя сказка... Что-то в ней не русское, не наше.

Вспомнила, как в детстве у неё была книжка «Сказки народов мира», и всё никак понять не могла, почему сказки так рассыпаются... То за принцессу любимую жизнь отдают, то обменивают её на дочь короля, и все счастливы. Нация — это генетический код; интернационализм сказок народов мира, на котором выросли русские дети, — это превращение национального духовного гумуса в песок и пыль... Пока ребёнок не встал твёрдо на ноги, не усвоил родное, можно ли допускать подобные эксперименты?

— А тебе всё про Ивана-дурачка хочется?! Так они уже всем известны. Что же в них нового?

Вдруг она замолчала. Она молчала, как молчит трава под проливным дождём, как молчал вековой дуб, раскрывая почки, как молчит солнце, согревая всходы, словно эта невысказанная, непостижимая тайна природы и есть самое сокровенное, невысказанное чудо на земле. К великой тайне подходишь в молчании, доверяясь животворящей силе природы. Рождённа, несотворённа, единосущна... И этим внутренним безмолвием объят весь мир.

Степь то замирала, то вздрагивала странными, редкими, чудными ночными звуками.

— Слышишь, гром?.. — шепнул он ей на ухо в сенной палатке, мокрый, холодноватый, утренний. — Там такой дождь врезал!

Она не видела ни блестящей сверкающей молнии, ни грохотанья неба — всё в ней спало. Но теперь, когда он пришёл с дождя, разбудил, а сам уснул, ей стало не по себе в полутёмном молчании брезентовой палатки.

— Не спи, мне страшно... Как говорила Грушенька Мите Карамзову: «Я любила тебя часочек...»

— У нас другая жизнь... Мы с тобой будем счастливы... Спи, не думай о своём Достоевском... Не думай о «тёмных аллеях». Наши аллеи будут ясными и светлыми, как степь утром. Ты же со мной... Вчера плакуна нарвала, вот и дождь пошёл...

— Какого плакуна?

— А чай с чем пили? Лилово-красные цветки... Вот они... Маленькая ты моя, ничего не знаешь... Иван-чай — это и есть тот плакун, от которого дождик идёт. Слышишь, как шелестит по листьям и ползёт по палатке?..

Утренние лучи, как комарики, ищут щель, чтобы пробраться в тёмное тепло палатки.

Всё пересчитывала и пересчитывала всем долгожителем года серая несчастливая кукушка за брезентовым пологом...

— Да она громче петуха! — проснулась Маша, высвобождаясь из плена сенного сна.

— Вот такие они у нас — часы с кукушкой! Год ку-ку, два ку-ку...

Откинули полог — вокруг разлито солнце блестящими каплями по сверкающей траве.

Длинная пурпурная нитевидная вербена сплелась с русыми волосами, как девичий веночек.

Трава сырая до десяти часов. Листья на деревьях ярко-сине-зелёные, будто в мае.

Парит!

Пётр выскочил босиком из палатки и давай валяться по мокрой, росистой, шелковистой дождевой траве. Как он похож на зверька, безумно радующегося жизни.

— Иди! Поваляйся в траве — счастливой будешь!

Но у Маши, городской девушки, постоянной отличницы, не хватило духу вот так, как зверушке, нырнуть в медвежью траву. Она вбирала, впитывала воздух с какой-то новой радостью. Роса после дождя — как сверкающая свобода!

— Теперь трава всего меня запомнит, — собирал с себя капли, — и вылечит, и обережёт!

Маленькая птичка с поля прилетела и смотрела на него, низко качаясь на ветке. И в её остром взгляде было что-то древнее, непреходящее. Подул ветерок, лёгкий, свежий. Ветерок затихает и опять парит. Солнце сквозь пелену испарений ласковое и нежное, как руки матери.